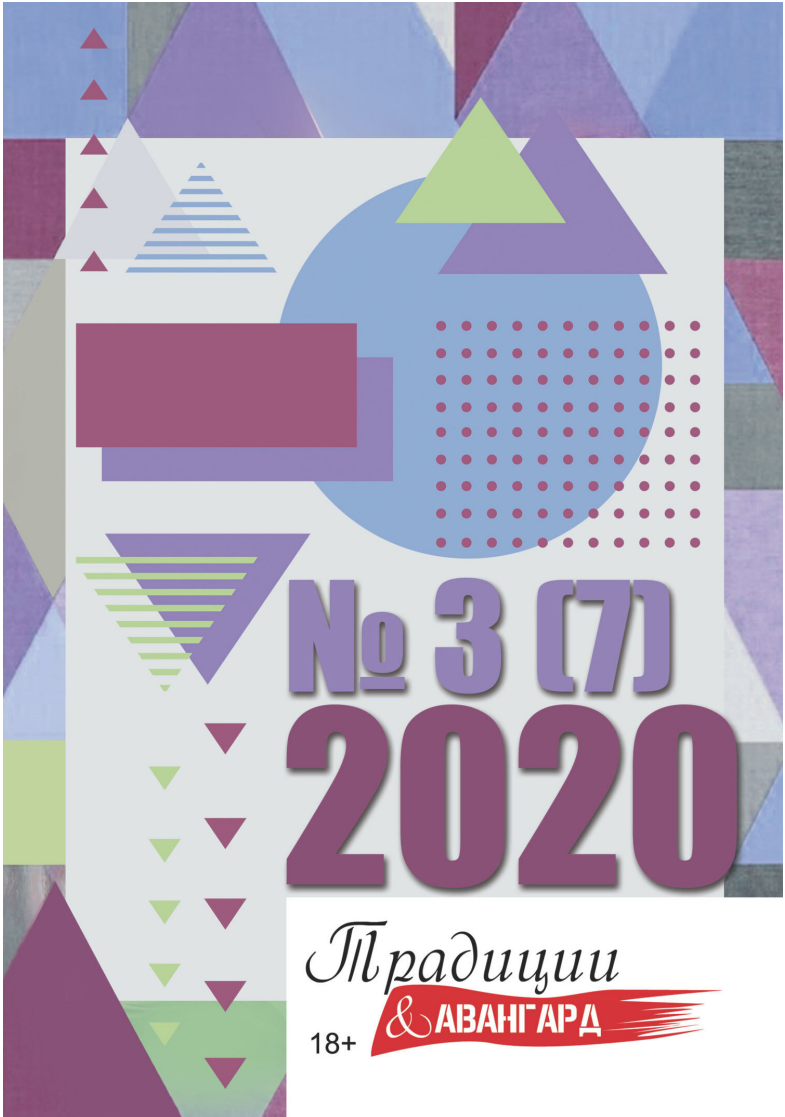

№ 3 (7)
2020
Традиции
& АВАНГАРД
18+

Коллектив авторов

Традиции & Авангард. №3 (7) 2020 г.

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63111771
Традиции & Авангард. №3 (7) 2020 г.: Интернациональный Союз писателей; Москва; 2020
ISBN 978-5-907350-73-1

Содержание

Проза, поэзия 5
Надежда Лидваль 5
Два рассказа 7
Царь 7
Магазин «Садко» 11
Антон Секисов 17
Бог тревоги 18
Андрей Тыжных 41
Заслонит человек быстротечность… 42
Осенний взгляд на Смолино 42
Ток 43
Импровизация-2006 44
Под теплотрассой 47
Алёна Климанова 49
Два рассказа 50
Бежать по воде 50
Осенне-летний треугольник 59
Завтра в школу 62
Не прислоняйся 69
Дмитрий Близнюк 78
Зимний день светился изнутри… 79
Эхо невозможного 79
Самурай 80

Роман Богословский 87
Найти убийцу Нины 88
Intro 88
Голос лампочки 90
Воспоминания Нины № 1 107
Яркая смерть 113
Конец ознакомительного фрагмента. 122

Коллектив авторов Традиции & Авангард. № 3 (7) 2020 г

Проза, поэзия

Надежда Лидваль

Надежда Лидваль родилась в 1990 году в Омске. Окончила ОмГУ по специальности «перевод и переводоведение». Училась на курсах писательского мастерства Creative Writing School. Публикации рассказов намечены в журнале «Новая Юность» и альманахе «Твист». Живёт в Санкт-Петербурге.

Два рассказа

Царь

Было у царя три руки и одна всего нога. Построит царь, бывало, министров кругом себя, руки разведёт на три стороны, пальцы растопырит – и давай крутиться на своей единственной ноге да хлестать министров по щекам. А кто вылетал из круга, не вынеся царских оплеух, тот из кабинета министров выгонялся с позором.

Паркет подлинный, бахилы скользкие, стены золочёные, гарнитур расстрелянного графа – красивый, Венера на потолке – голая, недосягаемая. А под ней – Ванечка в штанах с лампасами и ещё двадцать паломников с селфи-палками и завистью в глазах. Ползут за экскурсоводом, слушают проповедь про царя.

Турникет билет льготный Ванечкин не хотел зубами цеплять, всё выплёвывал. Не услышал Ванечка, откуда у царя три руки взялись – проклял кто или благословил, – и не успел спросить, одинаковой они были длины или разной. У Ванечки самого – две всего, костлявые, с большими красными кистями. Позвоночник изгибается, как ноты «К Элизе», а правое ухо любит прислушиваться к правому плечу и льнёт к

нему постоянно. А ещё глаза у Ванечки удивлённые. Ходит он по золотому залу и гадает, какой угол у царя был любимый.

В опочивальне группа не помещается. Ванечку зажало между камином и круглой тётенькой в панамке. Она наставляет на себя палку, будто дуло ружья, – получается её голова на фоне царской кровати. Красиво.

За верёвку не заступать, об стены не обтираться.

Монархи в те времена спали полусидя, а ходили в полу-приседе. Передвигаться на прямых ногах в то время считалось вредным для кармы.

Садится Ванечка на корточки возле камина, чтобы по-царски на мир посмотреть, а видит ноги и чью-то сумку. Бабка-блюстительница зырк, цыц, шик на него. Блюдёт покои царские. Ванечка встаёт. Носом уткнувшись в чужие лопатки, шаркает в царскую столовую.

Сервиз на пятьдесят персон, подарок Льежской фарфоровой фабрики, двести пятьдесят предметов. Из них уцелели только семьдесят, но и те пришлось долго восстанавливать. Ни одного целого блюдца. Здесь скол, там трещина, тут следы от зубов. Царь не совладал со своими руками и эмоциями, когда узнал о том, что у него есть единоутробный брат с тремя ногами и одной рукой.

Посуда как посуда. Кто их, чашек этих, не видел? Ванечка тоже видел – и чашки, и ложки, – но не такие. У него есть одна кружка, белая в красный горох. И со сколом прямо

там, куда губа верхняя приходится. А тут все чашки тоненькие, целёхонькие, с ракушечными изгибами. И щупальца какие-то нарисованы. Смотрит Ванечка по сторонам – ушли все. Берёт Ванечка чашку за хрупкую ручку-петельку, к глазам подносит. И правда, щупальца: осьминог на чашке распластался, тянутся ленты с присосками по волнам фарфоровым, голова гладкая, мягкая, набок завалилась. Ванечка палец продевает в ручку, как со своей чашкой обыкновенно делал, разглядывает осьминога.

– Молодой человек!

Застукали Ванечку с осьминогом. Бабка-блюстительница к нему бросается, а тот в сторону от неё – и к другой стене бежит, летит в скользких бахилах. Чашка на пальце болтается, но он про неё уже забыл. Дверь легко его впускает, Ванечка в соседний зал залетает, поплотнее створку прижимает, наваливается, стул ногой придвигает, сверху ещё один громоздит, а на него – часы тяжёлые. Бабка стучится с той стороны и глухо ругается.

А Ванечка – тот уже от неё далеко. Шуршит бахилами, обходит свои владения. В Ванечкином королевстве – голубой полумрак, а в нём звёзды пыли перемешиваются с опаловым светом. Паркет кое-где разобран, в углах вёдра с краской стоят. Сверху, из-под потолка, смотрят на Ванечку из овальных рам лица цвета мотылькового крыла. У многих глаза удивлённые. По центру, напротив входа, самый большой овал с самой большой головой. Голова замечательная, бугристая,

ни на какую другую не похожая. Разве что на Ванечкину. Он проводит рукой по своему неровному черепу, вздыхает. А под большим овалом, тоже по центру, трон стоит, в целлофан укутанный.

Только Ванечка к нему подошёл, как – раз! В дверь с той стороны что-то врезалось и запричитало. Но не прорвалось. Только Ванечка поднялся на ступеньку перед троном, как – на тебе! Сбоку, за другой дверью, загремели ключами.

Кружится Ванечка, мечется, куда деться, не знает, обхватил руками свою бугристую голову, сцапал малярный валик, чтоб обороняться, подбежал, подскочил да и уселся на трон прямо поверх клеёнки. Сидит, грудь ходуном ходит, колени трясутся, чуть ли не до подбородка подпрыгивают.

Часы музейные, что на стуле стояли да дверь подпирали, грохаются об пол, в дверь врывается бабка-блюстительница с охранником. Справа, топоча, высыпает в тронный зал группа с экскурсоводом.

И замирают.

В голубом сумраке – Ванечка на троне царском сидит, руки по бокам расставил. На пальце правой руки висит чашка с осьминогом, в левой – малярный валик на длинной палке. Луч, прорвавшийся сквозь тряпки на окнах, выхватывает Ванечкину макушку, и редкие волоски искрятся на его бугристой голове.

Охнул охранник, ахнула экскурсовод, усмехнулась группа, а круглая тётенька с селфи-палкой подошла и сфотогра-

фировалась на фоне трона.

Магазин «Садко»

У кого что над головой: у одних – звёзды намалёванные, у других – дельфины глазастые, у третьих – белый горох на чёрном фоне, а у четвёртых – у кого зонта нет – голова мокрая и мёрзнет. Дождь сделал из воздуха море, и в это море сошёл с автобуса Вадик.

За остановкой «Магазин “Садко”» сидел, как обычно, безногий старик на коляске и звал всякого, кто проходил мимо:

– Памги! Памги! Памги!

Но люди бежали от быстрых капель, и улица вскоре опустела. Пришла женщина в дождевике, оборвала песню и увезла старика в сторону магазина, где два алкаша помогли затащить коляску на разбитое крыльцо под козырёк.

Вадик стоял и мок. Погибшая сигарета, спрятанная за ухо, полетела в урну, но отскочила и упала на асфальт. В урне не было места: всю её заполнил своим существом чёрный зонт. Сложенные спицы торчали по-паучьи, одна была совсем оголена. Вадик вынул зонт, раскрыл. Безвольно повисло чёрное крыло, сломанная спица клевала правое ухо, но купол справлялся и не пускал дождь. Домой – лечить раненый зонт.

У Вадика однушка, в ней – плотный ковровый воздух, скрипучий паркет и высокие потолки. За окном было серо, пришлось зажечь лампу. Зонт раскрылся упругим звуком

поднятого паруса, стряхнул с себя капли. Снять колпачки, перетянуть изолентой, чтобы спица не выстрелила в глаз или не попала в розетку, обнажить металлический скелет. Вывихнутый сустав уже не срастётся – нужно заменить.

Играло радио. Под неторопливый ритм ленивый голос жевал слова, и невозможно было понять, что он поёт – «люблю» или «хочу». В дверь позвонили.

Парень в синем комбинезоне с порога спросил:

– Старый бойлер сняли? Нет? Ну мы тогда щас его того. И новый поставим. Где у вас вода перекрывается?

Парень пошёл в ванную, а Вадик вернулся в комнату и принялся ходить по свободному пятачку на ковре. Вперёд до стола, назад до стопки газет. Почти всю комнату занимали вещи: сумка с хоккейной формой и клюшка, старый процессор на подоконнике, пяльцы с неоконченной вышивкой, чайный гриб, сломанные зонты, комбинезоны для маленьких собачек, принтер для печати на футболках, красивые бутылки и два чучела – грустная индюшка и кривоватый хорёк.

Зонт Вадик починил, только он теперь не закрывался. Пришлось поставить в угол, накрыть им хорька.

Парень с бойлером заглянул:

– Хозяин, принимай. Теперь вода горячая, холодная – какая хочешь. Если надо, можем вкус поменять. Многие уважают с лимоном. Почитайте на сайте. Не, денег не надо. Всё уже оплачено.

Денег он и правда не взял. Сказал только на прощание:

«Санаторий “Мечта”» – и укатил старый бойлер. Горячая вода – это как раз вовремя. Её накануне отключили. Вадик хотел уже было пойти помыться в душевой бассейна. Он не был в бассейне со школьных лет, но совсем недавно ему случайно перепал бесплатный абонемент. В магазине девушка в кепке к нему подскочила и говорит:

– Вы выиграли абонемент в бассейн «Ермак». Безлимитный, на два года. Работает двадцать четыре часа семь дней в неделю. Водичка – прелесть. Плавайте на здоровье. Да, кстати, песня ваша про обложки для тетрадей тоже прелесть. Напеваем всей семьёй.

И ушла.

Куда он дел абонемент, Вадик не помнил. Он перебрал на подоконнике гору выцветших дисков и пластинок, прежде чем его нашёл. Попутно на глаза попался самый первый и единственный альбом его группы. У Вадика когда-то была группа, и называлась она «Так себе». На диске было десять песен:

1. «Микроволновые речи»
2. «Твой бычок»
3. «Обложки для тетрадей»
4. «День логиста»
5. «Фармацевт»
6. «Санаторий "Мечта"»
7. «Ацидофилин»
8. «Проспект Энтузиастов»

9. «Углы и впадины»

10. «Грустные камни»

Вадик раньше был музыкантом и часто выступал. Но когда от собственных песен начало тошнить и рифмы вдруг стали застревать между зубами, он снял переднюю стенку гитары, сделал внутри полочку, повесил на стену и поставил внутрь маленький террариум с ужом Дашей и банку соли. И замолчал.

Вадик взял в руки пластмассовую карточку с названием бассейна и вспомнил, что у него кончились сигареты. В магазине Вадик жестами показал, что ему, пожалуйста, «Винстон» со слепотой, но потом передумал и купил ещё с мёртворождением. Безногий старик на коляске вместе с женщиной в дождевике всё ещё были на улице, и когда Вадик вышел, старик сказал ему:

– Памги! Памги!

Женщина наклонилась через него к Вадику:

– Ну как вы, друг мой, поживаете? Когда новый альбом? Мы на ваш концерт-то последний не попали. Да, вот так вот. Жалко, конечно. Да кто ж знал, что он последний?

Вадик пожал плечами. Он молчал уже три года – с тех пор, как в гитаре поселилась змея.

– Памги! Памги!

– А не хотите нам выступленьице организовать? Одно всего. Ну чего вам стоит? Ой, как красиво вы играли. Ой, заслушаешься. Про фармацевта особенно душевно.

– Памги! Памги!

– Мы тут рядом, у речного вокзала, живём. Вы приходите, мы вас с дочерью познакомим. А то, вишь, какие тучи висят, набухли, сейчас опять прорвёт. Ой, долго будет лить, долго. А вы споёте – и сразу прекратится. А не споёте – не прекратится. Ну чего вам стоит, ну правда? Ладно, подумайте. Воды много не бывает.

И она повезла старика прочь от магазина. Их догнала девица в кепке, что абонемент Вадику вручила, сдёрнула на ходу кепку, распустила длинные волосы – и хлынул ливень.

Дома Вадик нашёл перед своей дверью бутыль с водой и новую гитару.

Дождь лил неделю. Красивый мужчина в телевизоре рассказывал про наводнение, про героев на резиновых лодках, спасённых с крыши собак и захлебнувшихся в подвалах людей.

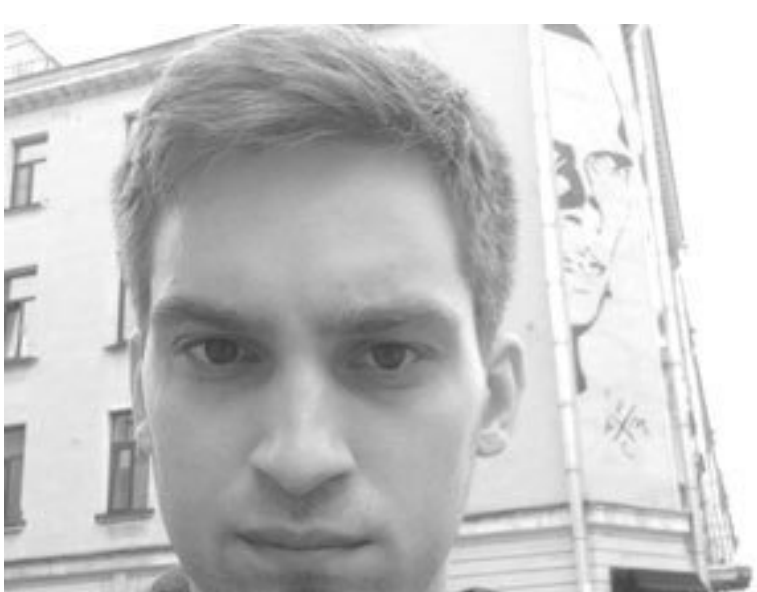
Закончилась слепота, закончилось и мёртворождение. Город погружался под воду. Вадик поднял с ковра найденный в мусорке зонт, оставив кривого хорька без укрытия, повертел рукоять в руках, потянул пружину. Нет, не закрывается. Крылья не желают складываться, упрямятся.

Вадик дотянулся до гитары, ущипнул струну.

А ближе к вечеру кто-то увидел, как возле речного вокзала, напротив спуска к реке, по воде плывёт рукоятью кверху чёрный зонт и собирает в свой перевёрнутый купол дождевую воду. Видели там же девушку с длинными мокрыми во-

лосами. Она подняла локоны кверху, закрутила и спрятала их под кепку. И прекратился дождь.

Антон Секисов



Антон Секисов родился в 1987 году в Москве. Учился в Московском государственном университете печати по специальности «редактор». С 2012 года работал редактором и журналистом в изданиях «Российская газета», «Свободная пресса», «Русская планета», русскоязычном LiveJournal. Ав-

тор трех книг прозы – «Кровь и почва», «Русский лес» и «Песок и золото». Рассказы опубликованы в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Октябрь». В 2012 и 2015 годах входил в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «Крупная проза». Живет в Санкт-Петербурге.

Роман «Бог тревоги» готовится к изданию в «Лимбус-пресс».

Бог тревоги
Фрагмент романа

Я проснулся из-за того, что в комнату залетел инородный предмет. Мне показалось, это граната, бомба. Тело сжалось в последний раз перед тем, как разлететься на ошметки и лоскутки – может быть, навсегда, а может, только на неопределенное время.

Я присмотрелся и понял, что предмет – птица. По оперению было видно, что это скворец. Почему-то сразу стало понятно, что скворец мертвый. Труп птицы кротко лежал в углу.

Судя по траектории, он влетел не сам, а кто-то швырнул его в форточку. Как это могло получиться? Мы были на восьмом этаже. Но все-таки на пару секунд возникло полное ощущение, что кто-то стоит за окном. Стоит или даже висит: представился суперзлодей вселенной «Марвел» Зеленый Гоблин, который парит у окна на реактивном глайдере,

а в авоське у него – охапка мертвых скворцов. Он подкидывает их жильцам Басманного района Москвы, чтобы внести разлад в их бедные, порабощенные ежедневной рутиной головы.

Не просыпаясь, Ася столкнула меня с матраса, хорошенько лягнув ногой. Я взглянул на ее безмятежную лисью мордочку. На улице было жарко. Медленные тупые мысли плыли в голове, как в тазу с горячими тряпками.

Встать долго не получалось, и я просто лежал на полу и глядел на птицу. Напольный вентилятор шевелил оперение скворца. Голый, сонный, беспомощный, я чувствовал себя тоже птицей, выпавшей из гнезда.

Я все-таки подошел к окну и отдернул штору. За окном не было никого – ни поблизости, ни вообще где бы то ни было, насколько достигал взгляд. А взгляд достигал железнодорожных путей, розовой колокольни XVIII века, стены которой приобрели оттенок воспаленной кожи, сгоревшей на солнце; пыльного и пустого двора и огромного доходного дома, достроенного в 1917 году, в котором теперь была академия прокуратуры. Никаких признаков жизни ни в одном из многих сотен окон. Ни одной птицы: ни живой, ни мертвой.

* * *

Я встал перед зеркалом в ванной, надавил на тюбик с пастой и вспомнил, что есть плохая примета про птиц. Птица,

влетевшая в дом, – это вестник смерти. А что за примета, если и сам вестник смерти мертв? Целое колесо смерти вломилось в окно этим утром.

Долго мыл холодной водой лицо, пытаясь проснуться. Сходил на кухню за мусорными пакетами, веником, совком и перчатками. Мне не хотелось обратно в комнату, и я долго стоял на пороге, ковыряя пальцем в зубах. Но когда зашел, скворца нигде не было. Ася лежала лицом к стенке. Я сел на стул посреди комнаты и поглядел на нее. Представил, что Ася на самом деле не спит и что у нее желтые белки глаз, узкие, как бритва, зрачки, а изо рта торчит птичье перышко.

Одна лопатка у Аси так выпирала, как будто третья рука хотела вырваться из спины. Этой ночью мы старались любить друг друга потише из уважения к спавшему ровно под нами старому инвалиду. Но он все равно стучал по батарее клюкой. Я сидел и раздумывал, стоит ли сказать прямо сейчас о своем решении. Это решение я принял давно. Оно ударило меня как разряд тока именно в тот момент, когда я был внутри нее – как будто Ася не женщина, а трансформатор.

Но сейчас решимости не хватало: я понял, что лучше сперва отрепетировать разговор на друзьях. Раздумывая, я и не заметил, как Ася села в постели и, рассеянно взглянув мимо меня, принялась осторожно ощупывать груди – так, как будто всю жизнь прожила мужчиной, а сегодня проснулась в теле привлекательной женщины. Вы наверняка видели хоть один фильм с такой коллизией.

* * *

Я купил новые линзы, поэтому с непривычной отчетливостью видел каменный зад купальщицы в Нескучном саду – очень худой, тусклый, несчастный.

Был еще один аномально теплый день в октябре, и деревья большей частью стояли зелеными, а люди бродили полураздетыми, и только зад купальщицы источал беспокойство, торча молчаливой угрозой сложившемуся порядку вещей. Как будто в нем была заключена вся чугунная серость зимы. Казалось, купальщица вот-вот разорвется, и всю эту жалкую последнюю теплоту, как при обвале, засыплет каменным холодом.

Здесь я объявил своим друзьям, Александру Снегиреву и Оле Столповской, что переезжаю в Петербург. Они узнали первыми о моем намерении.

Оля – скандинавская мраморная королева. Снегирев – арабский шейх, с шерстяными, но аристократическими руками, со странно темной лысиной, в которой, как в черном зеркале, гасли все блики и отражения.

Обычно у Оли были яснопрозрачные глаза, но сегодня – замутившиеся, как будто они выпали в корыто с мыльной водой и долго плескались там, пока Оля шарила по корыту руками. Но и такими глазами она видела меня целиком, вместе с желтеющими подмышками и всеми рабьими банальными

мечтами. И Оля принялась хохотать. Это не шло мраморной королеве.

Снегиреву сделалось неудобно за свою непосредственную жену.

– Что здесь такого? – сказал шейх. – Я тоже думал пожить в Петербурге. Просто смелости не хватало.

Оля продолжала смеяться, она смеялась достаточно долго, чтоб выйти за рамки всех возможных приличий. Но я понимал ее смех. Москвич, переезжающий в Петербург.

Мелкий писатель-неудачник в попытке поэтизировать жизнь, переехать в мировую столицу писателей-неудачников. Какой флер романтической глупости тянется за этим решением! Она видела, что перед ней не мужчина, а хоть и седоволосый, но по сути – младенец, требующий того, чего и сам не в силах понять. Сколько она перевидала таких переездов! Принес ли он счастье хоть одному?

Я глядел на друзей с обидой. Скандинавская королева и арабский шейх, которых как будто свели из геополитических интересов. И их аккуратное королевство в Подмосковье с кукольным дворцом без забора, открытым наступающему на него лесу. Но лес тоже кукольный, из декоративных хрупких берез. Он весь виден насквозь – из этого леса не может выйти ничего страшного – в худшем случае полевая мышь. В таких декорациях хорошо снимать европейский мистический триллер про благополучную семью, которую мучают призрачные кошмары, так и не проявившиеся во плоти.

* * *

У Аси от нервов задергался один глаз, а лицо печально обмякло – может, сбежал один из бородатых атлантов, поддерживавших каркас. Я списал это на лисью Асину интуицию. Она догадалась про переезд. Для Аси у меня было три нежных прозвища – лисичка, змея, паучиха. Но сейчас ни одно из этих прозвищ к ней не приклеивалось. «Моя переваренная свеклушка», – что-то такое вертелось на языке.

Но причина была в другом. Ася сказала мне, что беременна.

Ее слова подействовали неожиданно. Еще недавно я бросился бы от таких слов на рельсы – мы встретились у эскалаторов на станции «Римская», возле фигурок двух жутких детей с облупившимися физиономиями, они налипли на дорическую колонну как слизистые насекомые типа улиток.

Но теперь я чувствовал, как все обретает смысл. Переезд в Петербург – это просто тупая блажь. Мне тридцать лет, мне нужно идти по пути, проторенному тысячей моих предков, а не скакать козлом из города в город. Меня ждет обыкновенная семейная жизнь, ее теплый навоз, в котором пришла пора согреться и успокоиться.

Ася не понимала моей улыбки. Когда я обнял ее, почувствовал, что она дрожит. Испуганная светловолосая девочка в белом пуховике. У нее азиатский разрез глаз, но арий-

ский облик. Ася – это Евразия. Вот и новое прозвище, первое прозвище, не привязанное к животному миру или еде.

Евразия вгляделась в меня с тоской и мольбой: как же я мог – здоровенный лоб – не обезопасить ее от такого конфуза.

Я вспомнил смех Оли. Она смеялась не над моим переездом. Белая ведьма, она заглянула в будущее и рассмеялась над всеми моими планами, которые разобьются о завтрашнее известие. Пока я разглядывал тощий каменный зад купальщицы, она прозревала мойр, из лоскутов окровавленной кожи уже давно соткавших мою судьбу.

* * *

В комнате было темно, только падал мертвящий свет от абажура, на который Ася набросила синие бархатные штаны. Я ощущал спиной, как светится синеватый лоб Гумилева – с портрета, купленного в музее Ахматовой. Трудно было понять, что выражал взгляд его неодинаковых косых глаз, казавшийся немного враждебным.

На ребрах у Аси наколота паутина – прямолинейный символизм жизни. Но я доволен положением мухи, увязшей в сети. Точнее, меня охватило состояние бурной радости. Но это – радость, спущенная сверху, как директива. Приказано радоваться. И кто же отдал приказ? Тело, запрограммированное на размножение, или это зов предков, или, может,

древний уродливый бог плодородия внушил это мне?

Мыслями я был далеко над нашей постелью. Монотонно двигаясь, я производил сложные вычисления, во всех мелочах планируя семейную жизнь.

У меня есть крошечная халупа на самой окраине, нужно ее разменять, взять в ипотеку двух- или трехкомнатную квартиру. Чтобы рядом был лес или лесопарк. Или во всяком случае сквер, в котором можно гулять с коляской. Нужно завтра же изучить рынок, посмотреть, сколько стоит квадратный метр в ближайшем Подмосковье – в пределах десяти километров от кольца. Следует стать тем прозорливым жителем Подмосковья, который дождется, пока возле его поселка откроют метро, и он станет частью Москвы, и недвижимость в полтора раза подорожает. Главное – брать в доме на стадии строительства, это маленький риск, но огромная экономия.

Без машины теперь нельзя. Ребенка нужно возить к врачу. Закупаться продуктами в гипермаркетах. Обычные супермаркеты для молодой семьи не подойдут. Сносная машина стоит от полумиллиона. Нужно будет залезть в кредит. Хотя, может быть, получится сделать так, чтобы половину суммы дал отчим. Или хотя бы сто тысяч. И еще у матери сто попросить. Или хотя бы в долг. Ипотека. Это где-то 50 тысяч в месяц. Ася работает, так что нам двоим это будет по силам. Но все равно придется немного залезть в долги. Найти какую-нибудь подработку или даже вторую

работу.

С меня стекал пот, и лилось из носа.

А все-таки кто переключил во мне невидимый рычажок? Ведь раньше ребенок был для меня сосущий воющий кровопийца и пожиратель времени. Он загонит меня на крест, с которого мне уже не сойти до конца моих дней. Привяжет ржавой якорной цепью к женщине, к которой мгновенно утрачиваешь всю нежность после такого известия. Как сразу же, раз и навсегда, становится ненавистен маршрут от метро, ведущий к работе.

Но теперь я был спокоен и счастлив. Впервые я видел, что смысл наполняет мою жизнь. На что мне мое время? Уже сколько мне было отпущено, и как я распорядился им? Пусть ребенок сожрет то, что осталось от времени.

И вот я блуждал внутри женщины, которую еще месяца три назад не знал, как в изменяющемся лабиринте. Чувствовал, как она, выпустив когти, крепко держит меня над собой, хотя я и не планировал вырываться.

* * *

Утром, заталкивая себя в вагон, я получил от Аси короткое сообщение: «Милый, мы не подарим стране солдата». Моя пацифистка. Она сделала новый тест и сходила к врачу, и оказалось, что беременность улетучилась.

Так, оказывается, бывает: заснула беременной, а проснu-

лась уже не беременной. И медицина не видит в этом ничего странного. Не исключено, что и с женщиной на седьмом или восьмом месяце может случиться что-то подобное. И это событие тоже будет воспринято как само собой разумеющееся и в лучшем случае удостоится нескольких нечитабельных строк в медицинской карте.

Спустя пару станций пришло запоздалое понимание: я все-таки переезжаю в Петербург. Жаль, что этот незаметный для внешнего мира зигзаг судьбы не пробудил во мне даже тени эмоции.

* * *

Я никогда не был решительным человеком, но в последние годы воля атрофировалась уже до клинической патологии. У меня поднималась температура, когда нужно было решить, какое кино скачать, и я так и ложился спать, ни к чему не придя, до ночи мечась и маясь, бесконечно тасуя вкладки браузера.

Но вот я принял решение впервые за много лет. Правда, несколько раз подбросив монетку в подтверждение выбора, но все-таки это был волевой шаг. И этот волевой шаг дробился на целую серию волевых решений: решение расстаться с Асей, решение съехать с квартиры, решение уволиться, решение оставить маму одну в городе, и от всего этого мозг непрерывно кипел. Помимо нелегкого разговора с Асей

предстоял разговор с начальником, разговор с арендодателем, разговор с моим барбером – замечательным парнем, который вряд ли переживет, что его многомесячный труд по окантовке затылка обернется трудом Сизифа.

Перед барбером было особенно неудобно. Какие слова подобрать? Как будто мне нужно было признаться в подлости, которой человеческий род еще не знавал. Хотя уж в чем человеческий род никогда не переживал writers block, так это в изобретении подлостей. Почему же так тяжело? Я вспоминал, что парадоксальным образом настоящие подлости давались мне куда проще.

* * *

Я сидел в кабинете начальника, парня, который был на год или два старше меня, с ржаво-рыжей бесформенной бородой, которую он без конца теребил в районе ямочки на подбородке. Когда я положил на угол стола заявление об увольнении, он не удивился и не расстроился, но принялся долго, уныло пытать меня вопросом, зачем я переезжаю в Санкт-Петербург. Мне предстояло еще много раз ответить на этот вопрос, и сложность была в том, что нормального человеческого ответа на него не существовало. Чтобы ответить на вопрос, зачем мне переезд в Петербург, нужно было переехать в Петербург. Выходила логическая ловушка. Поэтому оставалось краснеть, и потеть, и мямлить, ожидая, когда он

сдастся и разрешит уйти.

Было проще всего сказать: семейные обстоятельства или другая, более высокооплачиваемая работа (в Петербурге? Ха-ха), но я почему-то не мог соврать.

Если бы я задался целью честно ответить на этот вопрос, что в принципе невозможно в кабинете начальника, то у меня вышел бы длинный и путаный лирический монолог. И я все-таки приведу его здесь, постаравшись ужать, насколько это возможно.

* * *

Уже очень давно меня мучило назойливое и неприятное для самолюбия чувство: что я существую только в качестве некоего наваждения, порожденного, в свою очередь, кем-то не вполне настоящим. Это чувство временами охватывает многих или даже почти всех, но другое дело, когда оно не дает тебе передышки. Я стал настолько размыт, настолько лишился свойств, что напоминал сам себе фантазию или сон второстепенного персонажа из проходной повести писателя далеко не первого ряда.

У людей без личности особенно силен страх ее утратить: мысли о смерти доводили меня до состояния такого животного ужаса, что я переставал себя контролировать. Пожалуй, эту одержимость, этот страх потерять личность следовало использовать как единственную характеристику моей лично-

сти.

Вся моя взрослая жизнь протекала меж двух огней – между жаром маминого борща и борща старшей сестры: обжигающий жар двух борщей, в котором я задыхался. За многие годы в Москве я не испытал ни одной глубокой эмоции. Значит, все эти годы можно было спокойно перечеркнуть. А других годов – без борщей – и не было.

На фоне бессобытийной жизни я стал постоянно и очень активно разговаривать сам с собой, иногда эти разговоры превращались в споры с жестикуляцией. Я все чаще не находил сил, чтобы встать с кровати, и сказывался на работе больным.

Я был уверен, что психических проблем у меня нет, но время от времени вспоминал своих близких родственников, много лет пролежавших лицом к стене. Депрессия, осложнившаяся смежными заболеваниями. От лекарств у них страшные белые губы, кроткие козьи глаза с кровяными прожилками, это зомби, вместо человеческой воли в которых действует воля медикаментов. Я никогда не ел из одной посуды, не купался в одном водоеме со своими безумными родственниками. Мне казалось, что я подцеп лю от них сумасшествие, как цепляют простуду. И эти предосторожности действовали до поры.

Но теперь мне стал сниться один и тот же навязчивый сон с двумя мужчинами, один из которых стоял, а другой сидел. Почему-то тот сон доставлял мне особенное беспокойство.

Я не помню об этих двоих никаких подробностей, но только черты их лиц в какой-то момент начинали резко сморщиваться, и кожа становилась похожей на приставший к черепу пластиковый пакет. Я понимал, что, если они сорвут эти пакеты с голов, случится что-то неотвратимо кошмарное. И казалось, что это вот-вот произойдет.

Настали тридцать лет, самый деятельный, определяющий все период жизни, а я подошел к нему беспомощным и опустошенным.

Из равновесия меня выводили только рабочие споры. Неистовые и многочасовые, они были посвящены, например, вопросу, как следует писать слово «миллиард» – полностью или сокращать до «млрд». А если писать млрд, то добавлять ли к этой абракадабре точку, вот так – «млрд.». Коллеги, занимавшие ту или иную позицию, отстаивали ее так, как будто речь шла о судьбе континента, как будто ангел и черт вели спор за душу, не отягощенную крупным грехом, но и не благодетельную. Вокруг таких бюрократических изысканий вертелась вся моя жизнь, все разговоры и на работе, и за ее пределами. Я родился и всю жизнь прожил в Москве, но она так и осталась чужим, полным чужих людей городом.

Когда я пытался вспомнить, было ли когда-нибудь по-другому, всякий раз возвращался мысленно в Петербург. Там я ни с кем не обсуждал ни миллиард, ни миллион. Там ко мне подходил незнакомец, бледный от водки, и говорил что-то вроде: «Не правда ли, дорогой друг, что если мы покончим

с собой, в нашей жизни это ничего не изменит?».

Было время, когда я часто туда наведывался. Я пытался много писать, а Петербург был городом моих героев, нервных печальных людей, застрявших между реальным и потусторонним мирами.

Там жили мои друзья-писатели. Бывший борец Витя был настолько точной копией Хемингуэя, что с ним рядом и я чувствовал себя кем-то наподобие Фицджеральда – или по меньшей мере героем «Полночи в Париже», попавшим во временную яму. Он занимал комнату с недостижимо высокими потолками, и мне казалось, что, живи я тут, и мои мысли воспарили бы к небесам. Это в Москве они крутились вокруг, например, туалетной бумаги – ее то слишком быстрого иссякания, то, напротив, почти вечной жизни для какого-нибудь одного рулона.

Или Валера, писатель и массажист с гигантскими крабьими руками, который выжимал меня на массажном столе, как грязную губку. Во время сеансов я узнавал, как следует забивать барана, как правильней любить женщину в зависимости от расположения ее влагалища, как понимать в «Ветхом Завете» или «Войне и мире» ту или иную строку.

Марат, одновременно жилистый, крепкий и ангелически бестелесный, зашившийся пьяница и установщик дверей, похожий на пожилую брезгливую женщину. Когда я смотрел на него, сосредоточенного, бедного человека, без конца твердившего про свои и чужие тексты, то верил, что кроме

нежных поэтических образов, которые он вырывал из реальности и сажал в грубые колодки своих рассказов, в мире нет и не может быть ничего важного.

Женя, напоминавший одновременно монаха-отшельника и обезьяну, вечно чесался и вел одновременно по сто дел. Он писал по два романа и рэп-альбом, снимал сериал и снимался сам, издавал книжки и выпускал журнал, и поневоле даже человек с витальностью куклы, попади он в его поле зрения, начинал что-то предпринимать и куда-то бегать.

Максим – мой проводник и покровитель, устраивавший мне ночлег, всегда знавший, где можно отведать лучших в городе щучьих котлет и выпить самой дешевой водки, и где хороший невролог, и где бассейн без хлорки, и какая где теперь идет выставка. Было необъяснимо, как такой энергичный жизнелюбивый тип, как Максим, мог возникнуть среди этих гранитных болот, на этом холодном ветру, обнимающем всех мокрой колючей проволокой.

Максим свел меня с миллиардом (млрд) друзей, и никто из них никогда не работал, а обязательно что-то писал или где-то пел, чуть реже – снимал, и жил, кажется, одной только милостью Божьей, или не Божьей, но во всяком случае непостижимым образом, в соответствии с принципом «будет день – будет пища». Причем не только пища, но и даже некоторые излишества, в числе коих – знаменитые «влажные питерские спиды».

Я понимал, что и мне следовало отдаться течению петер-

бургской жизни и с беспечностью наблюдать, куда это течение выведет. Я понимал, что Петербург только кажется неудобным для жизни, враждебным жизни северным городом – для таких экзотических хрупких цветов, как я и мои друзья, он был теплицей.

Вспоминая свои приезды, я видел драгоценные черепки, из которых складывается прекрасная альтернативная жизнь, и ей живет в этом городе мой доппельгангер. Жизнь, в которой едешь зимой посреди ночи до станции Царскосельской, чтоб поглядеть на любимую скамейку Иннокентия Анненского. А не жизнь, в которой ползаешь возле кулера, на полу, выдавливая друг другу глаза ради верного написания «миллиарда».

Но я выбрал удобные шерстяные тапки Москвы и ежемесячную зарплату. Я попал в худшую из ловушек, в которую может вляпаться пишущий человек, – журналистику. Сперва репортерская работа и так называемое профессиональное выгорание, явно предшествовавшее овладению профессией. Затем работа редактором – и исправление заметок, написанных небывало плохо, от которых в конце концов и я сам стал терять слух к слову. И вот в тридцать лет, задувая свечи на пироге, я понял, что жизнь обрела все черты тоскливой симуляции.

Я работал в газете «Счастливый возраст», публиковавшей статьи про идеальных российских пенсионеров. Пенсионеров, которым не было дела до пенсионной реформы, спор-

тивных и моложавых, их интересовало только открытие новых катков, танцплощадок и фуд-кортов. Они знакомились в интернете, вставляли в зубы протезы стоимостью в хорошую иномарку и не слезали с велосипедов и палок для скандинавской ходьбы. Я думал, что если такие пенсионеры и существовали в реальности, то их, должно быть, завезли специально из Скандинавии или Германии.

А делали эту газету о спортивных ухоженных стариках люди, не имевшие ни малейшего отношения к старикам, спорту и даже, увы, к элементарной ухоженности. Молодой бородатый главред был доброжелательным русским пьяницей. Закупал алкоголь канистрами и канистрами же его опустошал за рабочим столом. Там же и проводил ночь, свернувшись на придверном коврике и озверело храпя. В бороде у него всегда застревало съестное, а на безволосом поросячьем животике, пока он спал, сотрудники иногда оставляли фломастером оскорбительные слова.

Ответственный секретарь, старшекурсница, похожая на комарика, тыкалась во все предметы мебели, как пылесос-робот, и хрипела голосом вылезшей из пруда утопленницы: «Фармацевт! Дайте мне телефон фармацевта-а-а». «А где мой телефон?», – интересовался с пола главный редактор. С этого начинался почти каждый рабочий день в газете про благородную старость.

Отношения с Асей за неполный триместр проделали полный цикл – от обоготворения и через животную похоть –

к ласковому безразличию. Мы не знали и не желали узнать друг друга, а просто спали, считали родинки друг на друге, ели пиццу в кровати и смотрели бесконечный сериал «Лост». Меня пугали ее татуировка, ее портрет Гумилева, ее сосед, который выращивал чайный гриб. У этого гриба даже было имя – Федор, – и, когда я ночевал у Аси, он проникал в мои сны. Грибы – они как коровы, но только умнее коров. Во всяком случае, они хитрее. А еще мне казалось, что они с соседом трахались друг с другом безостановочно, стоило только выйти за дверь. Я был уверен, что этот разрыв пойдет нам обоим на пользу.

Пока у меня еще оставалось немного энергии, я должен был предпринять этот запоздалый рывок в жизнь. При этом я хорошо понимал, что рывок этот следовало уподобить попытке толстого одышливого мужчины догнать линию горизонта. Толстого одышливого мужчины, не забывавшего ни на секунду, что эта линия не станет ближе и на сантиметр. И все-таки надо бежать.

В сущности, я хотел добавить немного нервозности в жизнь. Щепотку полезной нервозности. Сбросить с себя слоновью кожу, которую нарастил в родной Москве. Точнее, в слоновью кожу, как в чехол, было сложено сердце – кожа была по-прежнему слишком нежной, меня выводила из строя любая мелочь, но вот сердце спало, ничего его не касалось. Меня не манили авантюры старого мира – я не хотел брать Трою, я не хотел на Донбасс, я не хотел жить дикарем в пло-

хо изведанных уголках планеты. Моя Троя – это переезд в Петербург.

В общем, примерно такой монолог должен был выслушать мой начальник, который бы все это время пыхтел и мечтал о канистре. Я поступил благоразумно, ограничившись несколькими минутами беспомощного мычания.

* * *

Реакция Аси оказалась ровно такой, как я ожидал. Она только вздохнула и уточнила: когда? Я ответил, и она склонила голову набок – наверное, подсчитывала, сколько раз мы еще переспим до моего отъезда. Хотя я и надеялся, что все выйдет именно так, благоразумно и мирно, меня пронзил страшный укол обиды. Мои мысли потекли в следующем направлении: вот она, современная молодежь.

Вот оно, первое по-настоящему свободное поколение, никак не связанное с Советским Союзом, в отличие от меня, хотя и не заставшего его в сознательном возрасте, но все-таки я, цитируя Олега Газманова, рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Или словами Юрия Шевчука: у-у-у-у, рожденный в СССР! Значит, вирус этого мрачно-диковинного государства есть и в моей крови. А вот у поколения Аси его не было. Про Асино поколение писал упрямый диссидент Владимир Буковский: «Неужели теперь, на пороге гибели страны, произойдет чудо и возникнет из хаоса новое пле-

мя бунтарей, которые сделают то, на что их трусливым отцам пороха не хватило, – покончат с остатками тоталитарного режима, превратившегося в мафию, отстранят поколения, испорченные десятилетиями рабства, и начнут строить новое общество?» Нет, не начнут. Ведь это поколение сломанных роботов, травянистых детей без крови, стержня, морали, чувств, владеющих всеми дискурсами, но не верящих ни в один из них, вечно веселых и таких ироничных всезнаек, но почему-то пичкающих себя антидепрессантами без остановки! Отребье, гниль, падаль, навозные насекомые! – так думал я, не в силах отвести взгляд от ее живота, исчерченного нитями паутины.

* * *

Последняя встреча с Асей прошла в музее русской иконы Андрея Рублева. Этот поход был незапланированным, мы просто оказались возле него, когда, как из шлюзов, прорвался дождь, совмещенный с густыми слизистыми осадками неизвестного происхождения. В первые пару секунд показалось даже, что это дождь из моллюсков.

Никаких особенных мест для укрытия не было – так что нас ждало русское зодчество, находившееся под надзором долговязой старухи-смотрительницы. Это была женщина с овальным серым лицом, напоминавшим утес, вокруг которого, как мох, наросла какая-то лиловатая шелуха – на лбу,

на щеках. Старуха шла по пятам и издавала шипение, стоило нам встать слишком близко к одной из икон. Может быть, это была и не смотрительница, потому что никаких специальных значков на ней не было. Ася выглядела бледной, уставшей, лоб покрывал пот. Я подумал, что в кино так выглядят женщины после родов. Ася перекрасилась в серебристый цвет, и волосы у нее теперь походили на каску.

У меня был аудиогид, и мы, прижавшись друг к другу, возможно, в последний раз, слушали бодрый механический голос, который рассказывал, как святого Георгия пытали колесом, бросали в яму с гашеной известью, кромсали пилой, перебили кости на руках и ногах и в конце концов отрубили голову.

Больше других мне понравилась сюжетная икона с Николаем Чудотворцем. Вот он родился, совершил первое чудо, а вот его уже несут хоронить, а потом он вдруг сидит за столом, а потом сражается с какой-то огромной рыбиной. Было сложно понять, как читать сюжетные иконы, но когда я разобрался, связности повествованию это не добавило. Наверное, именно так должен воспринимать наш мир Бог, у которого все происходит одновременно: рождение, смерть, мелкие происшествия, отделяющие одно большое событие от другого, а также посмертная жизнь.

Конечно, не о чем-то таком я должен был размышлять в последнюю встречу с Асей, но какое место, такие и мысли. А загнало нас сюда странное чудо, моллюсковый дождь.

Мы прощались у памятника Андрею Рублеву, который придерживал в обеих руках две гранитных доски и как будто ждал, когда кто-нибудь встанет под ними. На голове у Рублева возилась ворона, свивая гнездо. Взгляд у него был упрям и грустен.

Вместо романтических, полагавшихся осени желтых листьев были только комки грязи. Снова пролился сопливый моллюсковый дождь, и я предположил, что сейчас мы пойдем заниматься воспетым во многих поп-песнях прощальным сексом, но Ася сжала мою руку несколько раз, как резиновую игрушку, и пошла домой.

Я смотрел ей вслед, пока она не скрылась за поворотом. Мокрая каска волос светилась во мгле, и казалось, что она идет не домой, а отправляется насаждать мир в одну из ближневосточных стран.

Не может быть, чтобы она плакала, раз за разом прогонял я эту мысль в голове, пока гнусные сопливые моллюски с небес падали мне за шиворот, распуская по шее щупальца.

Андрей Тыжных

Андрей Тыжных родился в 1987 году в рабочем посёлке Каргаполье Курганской области. Живёт в Челябинске. Работает контролёром ОТК на промышленном предприятии. Лауреат первого городского конкурса «Планета людей» имени де Сент-Экзюпери (2014). Публиковался в альманахе «Южный Урал» и других изданиях. Участник литературных объ-

единений ЧТЗ имени Михаила Львова, «Синий Лис» и Мол-Лита СПР Челябинска.

Заслонит человек быстротечность…

Осенний взгляд на Смолино

Как будто теплоход отплыл
В даль Смолино. И Муза там.
Строка у пристани с воды
Полна дыханием стекла.

И ты, далёкая в тиши,
Сосредоточена в смартфоне,
И цифровые камыши
Не пахнут на твоей ладони.

А я – неясный персонаж
В стране челябинских стихов.
Пока живой среди углов,
По памяти несу багаж.

И вроде встреча впереди.
По факту – неопределённость.
Весна пытается цвести,
Зима хранит незавершённость.

Пока иду навстречу ей,
Тревожны голоса по рации.
Найду за масками людей
На самоизоляции.

Ток

Что б отец сказал? Не знаю,
Только помню: в красно-чёрной
Куртке он. Я попадаю
В детство, полное машин.

На ковре ручная Волга
Тянет листья за собой.
Папин голос ненадолго
Громче ворсовой реки.

Дальше папа с мамой спорит,
Надевать ли мне колготки.
Время к завтраку подходит —
Кушать гречневую кашу.

Что он говорит? Не слышит
Заземлённая душа,
Чтоб хранить от тока мысли
И отца на Пасху ждать.

Импровизация-2006

Я Лунной сонатой укрылся внутри
Под свисты лещей и жалобный ропот,
Где страх наступает на шаг впереди,
На жизнь сыплет рукоприкладная копоть.

И кажется время рекламой часов,
Но страсти к учёбе вдруг выплеснут силы,
Чтоб вырваться из монотонных тисков,
Услышать каллиниковские мотивы.

И пусть тяжело от деталей машин,
Но дышится легче, как в парке Гагарина.
И взгляд устремлён до сосновых вершин,
И счастье, как точка на графике, найдено.

И ходишь с улыбкой, как будто навек
Среди закалённых экзаменов. Печь
Напомнит с акцентом уральскую речь.
С ней виден многопрофильный человек.

И, выдержав душу свободной от датчиков,
Окажешься, может, и творческим асом.
В сетях городских из солнечных зайчиков
Взыграет рассвет над Миассом.

* * *

Пребывать в постоянном цейтноте,
Собирая токарные мысли,
И, равняясь промышленной квоте,
Без остатка делиться на litz,s,

На столе контролировать базы.
Поле допуска – сотки, десятки.
Трудоёмки программные фразы,
Суета, триединые прятки.

У стекла устанавливать слежку
За работой двухпёрой фрезы.
И гадать – на кого та «ББшка»
Упадёт, как осколок слезы.

В остальном решено прибираться
И теряться в просветах ночи.
За станками могли показаться
Задымлённые руце Твои.

* * *

Рекурсивная река
Омывает снова фланцы.
Симфонические танцы
С ней крутились в голове.

И налажены века
В производстве единичном.
Мир кричит взахлёб о личном,
Только я о рукаве.

Испытал края на прочность,
Твёрдость, вязкость и упругость.
Механическая сущность
Цифровым увлечена.

Ряд привязок бросил точность
В цех из натуральных чисел.
Гром колонок сон похитил —
Рэпоградская цена.

Нагловатая улыбка,
Постановочные звёзды
И неврозы от фунчозы —
Время движется тик-так.

Быть здоровым – очень зыбко,
Нездоровым – тривиально.
Протекает жизнь фатально
Через нотный знак.

Под теплотрассой

Под теплотрассой нашли человека —
Он вроде там живой.
Солнце не знает, какого он века.
Пёс льнёт к нему щекой.

Выдержав паузу, речь затянулась,
Не зная, чем помочь.
Руки хозяина к псу протянулись,
А человек влез в ночь.

И поползёт человечность как вечность —
В кепке и с сумкой.
И заслонит человек быстротечность
Мусорным кубом.

Что-то навроде еды раздобудет,
Чавкая под Луной.
Перед глазами двор прежний прокрутит,
Думая сам с собой.

Под теплотрассой нашли человека —
Он вроде как живой.
Солнце не знает, какого он века
И что с его судьбой.

Алёна Климанова

Алёна Климанова родилась в Москве в 1989 году. Из автобиографической справки: «Больше всего на свете мечтала выйти за пределы видимого – или хотя бы выехать из своего города. С 2010 года много путешествовала, жила в Калининграде, Санкт-Петербурге и Самаре. Ходила в походы, ноче-

вала на улицах Гурзуфа, попала в шторм на Ладоге, доехала до Камчатки, видела медведей и поднялась на Авачинский вулкан. Между своими скитаниями окончила Литературный институт им. Горького, семинар детской литературы под руководством А. П. Торопцева. Желание выйти за пределы и ощущение, что в жизни всегда соприкасаешься с чем-то куда большим, чем можешь увидеть и осознать, определило и любимый жанр в литературе – магический реализм, по пути которого стараюсь идти и в своих собственных историях».

Два рассказа

Бежать по воде

Тем летом всё было не так. Мы ходили на залив, и нам казалось, что лучше уж утонуть в этом лягушатнике по колено, чем жить в нашем доме. Сидели на берегу, кидали камни с потаённой ненавистью и к заливу, и к миру, и к самим себе. Камни бились об воду и дырявили её насквозь. Если бы вода это чувствовала… Так хотелось сделать кому-то больно. Так хотелось, чтобы кто-то закричал, кто-то порвал уже этот серый туман, серый дом, серые дни, в которых мы жили. Как жаль, что вода не кричит. Ей всё равно, хоть обкидайся в неё камнями. И от этого кидаешь с ещё большей злостью. Быль. Быль. Ещё немного, и закричишь сам.

– Катька! Катька!

Я ненавижу своё имя. Мне непонятно, зачем родители назвали меня этим дурацким набором букв. Катя. Да фу! Сами они кати. И ещё: Катюша. Прям деревенщина какая-то. От этого вообще хочется тошнить. Вырасту и обязательно поменяю имя. А пока только и могу выбирать – откликаться или нет. И я выбираю: нет.

– Катька, глухая, что ли?!

Я молчу. Спиной чувствую, что это Паша. Тоже так себе имечко. Вообще не люблю все эти – ша: Паша, Саша, Маша, Даша… И ещё – тя. Мою сестру зовут Настя, ну, у неё хотя бы есть выбор – она может быть Асей. Ася – это неплохо, это даже прикольно. А я кем могу? Атей, что ли? Атя, Атя, Атя. И сразу утки перед глазами плывут, и хлеб кто-то бросает. Да ну.

Пашка – наш сосед. Он толстый, и от него всё время пахнет. Я не понимаю, как так можно. Такое ощущение, что он не моется. Может, в залив его спихнуть?

– Катька!

Я молчу, жду, когда он подойдёт ближе. Я знаю, что он обязательно схватит меня своими руками, и тогда я схвачу его, резко разверну и брошу в воду. У меня удобное место. Я на камне, подо мной – как раз по колено. Но до меня надо ещё добраться, и я слышу этот верный плеск: Паша не удержался на камнях и упал сам. Обидно. Ну ладно, хоть помылся. Я оборачиваюсь, а он, мокрый, неуклюже семенит обрат-

но и плюётся:

– Ты! Ты виновата!

Я смотрю на него и по-прежнему молчу.

– Тебя искали! – кричит он обиженно.

Я знаю, что меня искали. То есть меня всё время ищут. Даже если я скажу: «Бабушка, я иду гулять на залив с Настей. Мы вернёмся через два часа» – даже если я так скажу, то бабушка через полчаса начнёт нас искать. Через час пошлёт за нами Пашу. А Паша – ябеда.

Аси сегодня со мной нет, мы поругались с утра, и я ушла на залив одна. Вот этот вонючий и притащился. Стоит теперь, обиженный, а на обиженных знаешь что? Воду возят. Но я молчу. Мне интересно, что будет, если молчать?

А Аська с утра ещё обиделась. Сказала, что я всегда говорю одни только гадости. Неправда. Я говорю правду. Она продалась за мультики. Разве это не так? Бабушка обещала, что, если мы не будем лазить на крышу, она разрешит смотреть мультики. Крыша важнее мультиков, я считаю. А Аська продалась, как будто мультиков никогда не видела. Вот я ей это и сказала, и мы поругались. Она со мной теперь не разговаривает, а я вообще не разговариваю ни с кем. Паша кричит мне:

– Тебя бабушка ругать будет!

Бабушка меня всё равно ругать будет, что бы я ни сделала. Ася ей больше нравится – Ася за мультики продаётся. А я ни за что не продаюсь. Бабушка не понимает и потому руга-

ется. Думает, если будет ругаться, то я продамся за угрозы. То есть продамся, чтобы она их не выполнила. Но мне всё равно: хоть какое-то развлечение в этом унылом доме, пусть выполняет. Но она даже толком наказать не может. Взрослые всегда так: обещают с три короба, а потом просто весь вечер в комнате сидишь, ждёшь, когда они уснут, и через окно вылезаешь – вот и всё наказание.

– Я всё расскажу! – кричит Паша.

Что расскажешь? Что ноги кривые и ходить не умеешь? Что сам с собой разговариваешь? Но Паша убегает. Ябеда! Всегда ябедой был. Мы его с собой на крышу взяли, он нажаловался, и бабушка нас закрыла дома на два дня. Тогда Аська и продалась за мультики. А Пашке ничего не было: взрослые любят стукачей. И не любят правду.

Я вытягиваюсь на камне. Он овальный, прохладный – прикасаешься к нему лопатками, и руки сразу в разные стороны раскрываются. Лежишь, будто птица, и в небо падаешь. А вокруг вода, вода, вода. И всё серое. Ужасно серое. Но даже у серого есть оттенки. Небо не одного цвета: оно там светлее, здесь темнее, тут клочками, завитушками, кусками рваными. Иногда смотришь и думаешь: кто это рвёт его? Может, тоже кто-то сердитый, вроде меня, кого назвали Катькой или ещё как по-дурацки? И от этой мысли теплее становится. Я не одна.

– Катя! – теперь уже другой голос, я даже не сразу узнаю его. Думала, мы в ссоре.

Ася стоит на берегу и хмуро пялится на мой камень. То есть на меня, наверное, но я ощущаю себя слившейся с камнем, такой же молчаливой, неподвижной и почти равнодушной. Омывайте меня, воды, обдувайте меня, ветры, кричите мне, люди, что мне до вас? Смешно. А Асе – нет. Она видит, что я ещё не до конца слилась с камнем, смотрит прямо мне в глаза:

– Бабушка сказала: если ты не придёшь сию же минуту домой, то останешься без обеда.

Нашла чем угрожать! Ладно бы на обед ещё что вкусное было. А там гороховый суп. Позавчерашний к тому же. Вот уж велика потеря! Я вообще не люблю гороховый.

– Что ты молчишь?

Ася напряжённо глядела на меня, а я валялась на камне и молча глядела в ответ. Мне было хорошо. Наверное, по-настоящему хорошо. Я вдруг поняла, что не только Паша, но и Ася тоже говорит сама с собой. И обижается на самом деле на себя. Потому что она прекрасно знает, что продалась, но ей хочется, чтобы никто этого не знал, чтобы все думали, будто она просто хорошая девочка, как думает бабушка. А я сказала ей правду. И она хочет заставить меня перестать думать правду. У неё даже слёзы выступили – так ей этого хотелось. Я отвернулась.

Вода плескалась, ничего не было слышно, но я знала, что Аси уже нет на берегу. Я всегда говорю гадости – так она думает. Конечно, я говорю гадости. А послушная, хорошая

девочка Ася смотрит мультики, пока я заперта в комнате. Я ей кричу: «Аська! Аська! Выпусти меня!». Но она послушная. Она хорошая. Не то что я! Конечно! И ладно крыша! Ей мультики дороже меня.

Вообще теперь бабушкин выход, надо приготовиться. Ну, полчаса у меня есть. А то и целый час – бабушка ходит медленно. Пока она дойдёт до залива, пока со всеми другими бабушками по дороге поговорит… Долго, очень долго. Надо же рассказать, какая я! Вообще! Да за это время поспать можно. Качается вода вокруг меня, качается небо, и я качаюсь на камне. Может быть, я вода, а не камень?

Бабушка тоже хочет изменить мои мысли. Её любимая фраза: «Ты не должна так думать». Я спрашиваю, почему её мысли важнее моих, а она кричит, что я дерзить смею. Или что-то такое кричит. Я сказала ей недавно, что она нас любит, только когда понимает. А это бывает очень редко. Точнее, этого почти не бывает. Когда она не понимает, она всегда сердится и кричит, она хочет, чтобы мы стали понятнее, не вели себя так, как ведём, никуда не ходили, и тоже пололи бы цветочки целыми днями, и с соседями болтали через забор. Она хочет, чтобы мы стали бабушками. И ещё хочет, чтобы я так не думала.

– Екатерина! – о, это что-то новенькое. Бабуля явилась быстрее, чем я ожидала.

Видимо, это серьёзно. Меня редко зовут полным именем, только когда всё, кранты. Поэтому полное имя я тоже не

люблю. Если я его слышу, то лучше делать ноги. Я даже приподнялась.

Бабушка стояла на берегу, суровая, непоколебимая, и её серые волосы волнами окутывали голову, прячась в пучок у самой шеи. И волны залива, подбираясь к её ногам, тоже были серые, тоже что-то окутывали. Земля круглая, как голова. Интересно, есть у земли шея и остальное тело? Причёсывает ли она свои воды, когда никто не видит? Бабушка грозная, я отсюда чувствую, как она кипит, как не поздоровится мне, если я попаду в её горячие руки.

– Сейчас же слезай и иди сюда.

Ну, конечно. Мне и так уже кранты, я лучше оттяну этот момент.

– Екатерина, я кому сказала?!

Бабушка по скользким камням ко мне не пойдёт – побоится. Поэтому я молчу и жду: что будет? Мне немного страшно, хотя самое страшное, что сделала со мной бабушка, это однажды схватила за волосы и немного потрясла. Это было неприятно, даже чуть больно, но ожидание этого или мысль о том, что тебе вообще могут сделать больно, – вот что пугает. Я сижу на камне, смотрю на бабушку и думаю: что может быть хуже таскания за волосы? Я уже падала с дерева и с велосипеда – вот это было по-настоящему больно. Таскание за волосы – это фигня по сравнению с тем, как твоя рука или нога размазывается по асфальту, и сверху ещё великом накрывает. С дерева падать тоже мало приятного. Не знаю, как

я себе ничего не сломала. Зато сломала несколько веток дереву. С одной в руке так и упала: пыталась за неё удержаться, и это оказалось плохой идеей. Мне прям весь дух выбило, когда я упала. Это было так странно: я вроде живая, а дышать не могла. Ну, потом задышала.

Вообще я поняла! Страшно не то, что будет больно. Страшно, что тебе сделают это специально. Дерево или велосипед – это не больно само по себе. Так просто получилось. Неудачно свернул, за неудачную ветку схватился. А бабушка, когда хватает меня за волосы или с силой толкает в комнату и закрывает дверь на ключ, – она сильнее всех. И ни один самый сильный человек на свете не сможет уговорить её открыть дверь, пока она не решит, что я достаточно наказана. И самое противное: она делает это нарочно. Она показывает мне, какая она сильная, чтобы я её слушалась.

– Екатерина, я за себя не отвечаю!

То что надо. Я встала на камне во весь рост и показала бабушке язык.

– Ну всё! – и она вошла в воду.

Я спрыгнула с камня, вода прохладная, по колено, тут же облепила ноги. Бабушка приближалась, словно крейсер, расталкивая толщу воды. Она была неминуема. И то, что она собиралась со мной сделать, тоже было неминуемо. Я побежала что было сил. Залив – и впрямь лягушатник, как бассейн для самых маленьких, которые не умеют плавать. Тут полчаса можно идти, и тебе всё по колено будет. Бежать, ко-

нечно, трудновато – вода тормозит, но всё равно весело. Я обернулась: бабушка всё ещё шла за мной. Но она не любила залив, не любила воду, она была в одежде и даже обуви не сняла – так разозлилась. Я подумала: что, если она потеряет свою туфлю сейчас? Да ладно, туфлю, ей же придётся всем встречным бабушкам объяснять, почему она мокрая по колено! И почему меня с ней нет. А я бежала, бежала и смеялась.

– Екатерина! Вернись немедленно!

Ну уж нет! Я сильнее! Сильнее тебя, слышишь?! Ты меня не догонишь! Мне хотелось кричать это, но я обещала, что не буду больше говорить. Никогда больше не буду говорить с теми, кто разговаривает сам с собой. Никогда!

– Екатерина!

Я всё бежала. Бабушка уже давно остановилась и, не зная, что делать, просто стояла и смотрела на меня, выбившись из сил. Она старая уже, она не может так быстро бегать, и она хотела бы, чтобы я тоже не могла, чтобы я тоже была старой. И я даже понимала, что мне придётся вернуться однажды. Я не смогу переплыть залив, чтобы попросить убежища в другой стране. Потому что я ещё не очень хорошо плаваю и, скорее всего, утону, а тонуть мне не хотелось. Мне придётся вернуться, и бабушка мне задаст по самое не могу, и Аська будет смотреть свои мультики, за которые она продалась, и Паша-вонючка станет кричать под окном: «Катька – дура!». Но это будет потом. А сейчас я бежала по заливу, разбрыз-

гивая воду, вся насквозь мокрая, счастливая, свободная… Я была самая сильная на свете, бабушка видела это. Так что мне точно кранты, я знаю. Но это уже неважно.

Осенне-летний треугольник

Темнота медленно падала на деревню. Она накатывала волнами, одна за другой, и воздух становился густым, наполнялся сыростью и стрёкотом. Всё впитывало ночь, и травы перешёптывались в ожидании, тревожно качались молодые осинки в поле, и ветер гулял меж них, чернея и остывая.

– Шыр-шыр, шыр-шыр, – ходил кто-то в кустах.

– Шу-у, шу-у, шу-у, – низко летела ворона.

Алиса смотрела ей вслед: ворона спланировала над полем и провалилась. Тревожнее закачалось в кустах. Вдали, у кромки леса, наплывал туман – он был ещё совсем маленьким, но Алиса знала, что скоро он вырастет, загустеет и поглотит лес и поле. Если совсем поздно выйти из дома, то можно почти столкнуться с туманом: он стоит у костровища, молчит и светится изнутри.

– Смотри, – говорил папа, кивая наверх, – вон ту яркую звезду видишь? Это Денеб в созвездии Лебедя. Вон там ещё звезда – это Альтаир, из созвездия Орла. А вот эта – Вега, из Лиры. Денеб, Альтаир и Вега собираются в осенне-летний треугольник. Он виден только летом и осенью.

«Денеб, Альтаир, Вега, – повторила Алиса про себя, – Де-

неб, Альтаир, Вега».

– А вот это что?

– Это Арктур, из созвездия Волопас.

– Ага… – говорила Алиса и оглядывалась: папы не было. Он уезжал и приезжал всегда поздно ночью: просыпаешься в субботу утром, а он спит на соседней кровати. В воскресенье он уезжал. Пил чёрный чай, оставлял на вешалке чёрную кепку с поплывшими белыми волнами пота и указывал наверх:

– Гляди, вон там буква W, это созвездие Кассиопеи.

Алиса глядела, а папа уезжал. И красные огни машины ухали под горку возле шоссе, а потом они почему-то долго светились в ковше Большой Медведицы, пока Алиса не моргала. Стоило моргнуть, как огни пропадали, и оставался только Ковш. Мама крестила воздух и запирала калитку.

Ночи без папы становились темнее. Туман едва подбирался к корням деревьев, как мама уже заносила вещи и закрывала дом. Жужжал телевизор в комнате, ловивший только три канала, а в грозу – ни одного, задёргивались шторы на окнах и ярко вспыхивали лампы под деревянным потолком. Становилась совсем ночь.

Алиса высунулась из дома. Тишина перекатывалась вокруг, её можно было потрогать руками и отодвинуть с прохода. Фонарик пробежался лучом по кустам, цветам, тропинке, заглянул за калитку: никто не открывал, пока нас на улице не было? Нет, никто. И фонарик засветил вперёд: что там,

где тревожится вдали малина?

– Пшш-вшшш! – прошёлся ветер по кустам, задев Алисину руку.

– Мой участок, – сказала Алиса, – не боюсь.

Она пошла вперёд. Одна яблоня, вторая, третья, вот уж и сарай позади – дальше только малина, а за ней – столбы, и туман поля кутает.

– Ну чего вы тут все? – спросила Алиса в темноту. – Сидите?

Все ей не ответили. Видно, и впрямь сидели.

– Ну вот и сидите. А я так, похожу немного.

Алиса вышла в поле. Здесь продолжался их участок, но где-то там, где уже не видно коричнево-серых ржавых столбов, он заканчивался. Забора не было, и туман, ветер, кошки, ёжики – все ходили и ползали здесь. На поле, вдалеке, из тумана росли верхушки чёрных ёлок; они ещё тыкались в небо, и было видно, как появляются над ними маленькие звёздочки.

– Ты там стой, – сказала Алиса туману. – Я ещё не ушла. Вот уйду – тогда будешь гулять.

Туман послушно застыл в поле, и Алиса решила, что надо изо всех сил делать вид, что ей вовсе не страшно. Её участок, чего это она бояться будет? Даже если забора нет.

– Та-а-ак… – она подняла голову. – Большая Медведица… Кассиопея… Волопас… А где… ага!

Расстелился над Алисой осенне-летний треугольник: Де-

неб, Альтаир и Вега. И показался ей совсем рядом папин голос. Запахло бензином, нагретой за день машиной, заскрипели сапоги на пороге: папа снимал чёрную кепку и вытирал пот со лба.

– Гляди, – говорил он, – это Денеб, из созвездия Лебедь, это Альтаир, из созвездия Орла…

– А это – Вега, из Лиры, – закончила Алиса.

Она посмотрела вокруг, и ей вдруг подумалось, что все те, кто прячутся в темноте и тревожно качают ветками, – все они тоже боятся. Друг друга, темноты и просто так.

– Эй, – сказала она им всем, – не бойтесь.

– Вшш-вшшшшш, – качнул ветер травами и листьями.

Поколебался туман, съел ещё немного ёлок и пошёл дальше по полю. Алиса поглядела на притихший в небе треугольник: как он там, вдалеке? Там ведь у них совсем-совсем темно в космосе.

– Спи, – сказала она треугольнику. И пошла в дом.

Завтра в школу

Василич начал пить в июне, лет десять назад. Был такой же, как и сегодня, тёплый день, первое или второе июня. Нет, точно первое. День защиты детей был, по телевизору даже парад какой-то показали. Жена готовила пирог, и с кухни слышались звон посуды, стук тарелок, вода пробегала по мягким Машиным рукам, наводившим порядок. Василич

походил по коридору, тёмному, длинному, принюхался: яблочный. Да. Вчера из Краснодара яблок завезли. Кра-а-асных. Маша и корицу даже купила. Через полчаса поспеет, наверное. Василич нашарил свои ботинки и тихо выскользнул за дверь. Ступенька, ступенька, ступенька. Вот и солнце. Яркое, громкое, и облака жмутся по краю неба. Василич сощурился на солнце, вздохнул и вдруг понял, что жить ему осталось недолго. Бог знает сколько, но недолго. И тут очень захотелось выпить.

Тогда он ещё не был Василичем. Звали его Анатолий Васильевич. Здоровались. Руку жали. А теперь выйдешь с утра из дома, потащишься к какому-нибудь ларьку и стоишь там час, другой, прислушиваешься, как сладко звенит мелочь, которую дают на сдачу.

– Дайте сколько не жалко, – просит Василич.

Иногда дают. Но большей частью смотрят мимо, стараются отойти поскорее. Василич не обижается:

– Мне жить-то недолго. Не пожалейте десяти рублей.

– Да ты уже десять лет это говоришь! – кричит окошко ларька женским голосом. – Пшёл отсюда! Что клиентов мне пугаешь? Уходи!

Василич отходит, садится неподалёку и ждёт. Вот одно облако проплывёт по небу, вот второе… насчитает пятьдесят, снова идёт к ларьку. И снова брезгливо отходят люди, и снова кричат на него из ларька:

– Пшёл отсюда! Хватит к людям приставать!

– Ты мне лучше пива дай, – отвечает Василич и протягивает в окошко собранные монетки.

Уже на целую баночку хватит. А выпьешь баночку – всё полегче. И денег сразу просить веселее, и из ларька кричат не так противно, и люди смотрят как будто нежнее. А чего бы им не смотреть нежнее? Я ведь не бомж какой-то, думает Василич. Всего-то и делов, что пью. Ну а кто не пьёт? Нет, кто-то не пьёт. Маша не пьёт, например. Маша…

У Маши два года назад мама умерла, теперь её дома больше нет – она переехала в другой конец города и видеть мужа не желает. Василич поначалу ездил к ней, говорил:

– Маша, Маша, вернись.

– Уходи, – чеканила она и пыталась закрыть дверь, но Василич не давал.

– Маша, я ведь умру скоро.

– Уходи, скот проклятый! Восемь лет мне нервы пил. Мало? Ещё хочешь?

– Маша, прости меня. Когда я умру, моя квартира достанется тебе. Продай её, непременно продай и поезжай куда-нибудь. Хочешь в Египет? Или в Турцию? Мы ведь так и не съездили с тобой в Турцию. Говорят, в Стамбуле вино хорошее. Маша? Ты слышишь? Попробуй за меня вино, когда я умру.

Маша чувствует, что хватка мужа слабеет, и с грохотом захлопывает дверь.

– Маша! Это тяжело – жить, когда знаешь, что скоро

умрёшь!

Но дверь хранит железное молчание.

– Я бы хотел собаку, Маша. Но как я её заведу? Я ведь умру, а она останется. И тоже помрёт с тоски. И чего? И так про каждого думаешь. Может быть, Маша, я специально так с тобой. Ты же тоже меня любила. А я почувствовал, что жить мне недолго, и начал пить. И ты перестала любить меня. А если бы не начал и помер прям так, ты бы что делала? А, Маша? С тоски бы тоже… того.

И Василич тихо присаживался возле двери, а Маша по другую сторону беззвучно плакала, но не открывала.

А какая Маша была хорошая! Василич вспоминал её иногда перед сном, когда выпивал недостаточно, чтобы сразу провалиться в темноту. Жалел, что не случилось у них детей. Он хотел девочку, и чтобы такую же, как Маша. Со светлыми волосами, будто пшеница, с глазами зелёными, смеющимися, с солнечной радужкой вокруг зрачка. Маша не то чтобы была красивой. Но она была такой сильной, такой светлой.

– Что ты учудил? Умрёт он скоро! Ну конечно! – смеялась она поначалу. – Да все умрём. Чем ты лучше?

Её даже выкидыши не сломили. Ну нет детей и нет, что ж теперь, решила она. И как-то разом вскинула голову, выпрямила спину и пошла дальше по жизни, сильно, красиво, весело. Она и его пыталась вытащить. Таскала по врачам, записывала в общества анонимных алкоголиков (и что в них анонимного, когда все рожи с соседнего района?), прятала

деньги. Всё было бесполезно. Василич чувствовал, что умирает. С каждым часом, с каждой минутой в нём отмирала какая-то клетка, а то и сразу сто. И новые не приходили им на замену.

– Да печень у тебя отмирает, – говорила Маша. – Будешь дальше пить – и правда загнёшься скоро.

– Нет, Маша. Я умру не потому, что пью. А я пью, потому что умру. Да и как не пить? Вы все останетесь, а я уйду. А что там дальше – почём знать? Вот, может, просто засну – и темнота. И так до скончания времён. А вы останетесь. И у вас тут солнце будет. Обидно, Маша.

– И что? Обидно ему! Сколько людей умирает, и никто не ждёт этого так, как ты.

– Я и не жду. Я просто знаю, что мне недолго осталось.

Друзей у Василича было не то чтобы прям много, но и те оказались так себе. Махнули на него рукой, и всё. Только Колька ходил за ним целый год, говорил, мол, одумайся, что ты делаешь, в какую яму катишься, да ещё и жену за собой тащишь…

– Никого я не тащу, – сердился Василич. – Сама идёт.

– Ещё лучше! Ты чем думаешь, Толя? Ты хоть жену пожалей, раз на себя наплевал!

Потом и Коле надоело. А были лучшими друзьями в детстве, прям братьями. Очень жалели, что родители разные и нельзя жить в одной комнате. Были бы два брата – Толя и Коля. Не разлей вода. Вода и не разлила. А вот что покреп-

че…

В конце концов и Маша не выдержала. Восемь лет терпела. Почти бесконечность! Если повернуть восьмёрку боком – бесконечность и будет. Василич вспоминал Машу: вот ей двадцать, вот двадцать пять, вот уже тридцать, третий выкидыш, морщинки на лице, но всё в уголках глаз, улыбается много, вот тридцать пять, вот сорок, может, нам с тобой хозяйство завести, спрашивает Василич, да какое хозяйство, будешь ты за коровами ходить, смеётся Маша, и они живут дальше. Она – в магазине работает, он – грузчик. Вот Маше сорок два, и он получает травму. Всё, больше нельзя таскать тяжести. Ну ничего, говорит Маша, хочешь, устрою тебя в нашем магазине? Да можно, наверное, отвечает он, и Маша режет яблоки для пирога, а он нашаривает ботинки в тёмном коридоре, выходит на улицу, видит солнце и вдруг понимает, что скоро умрёт.

Какой сегодня день? Тридцатое мая. Завтра первое июня. Десять лет, как я пью, думает Василич и смотрит на солнце. Опять облака по краешку неба крадутся. Солнце большое, тяжёлое. Светит так, что, кажется, бьёт по голове. Василич щурится, глядит наверх и чувствует, как сердце делает стук и обрывается. Стук – и обрывается. Стук – и… Василич схватился рукой за перила, опустился на ступеньки, стал дышать. Ну всё, вот оно, мелькнуло в голове. Даже на пенсию выйти не успел.

Хотел взять пива, но передумал. Наскрёб мелочи – ров-

но на метро. Дошёл до станции, спустился и поехал к Маше. Хоть бы дома была! А то если на работе, это ж до ночи её можно ждать. Она в какой-то новый магазин устроилась, чёрт её знает где – не сказала. Василич представил, как сидит у Машиной двери. А всё равно, наверное, не откроет. И тут сердце опять: стук – и тишина, стук – и тишина… Эй, думает Василич, подожди. Я ещё Маше не всё сказал. Не всё! Я хочу, чтобы она в Египет поехала, пирамиды смотреть. А как она поедет, если я… я же в долгах весь, за свет-газ не плачу, да она продаст мою квартиру и… да нет, на Египет ей хватит. Должно хватить. И на Турцию тоже. Выпей за меня вина, Маша. Турецкого вкусного вина. Стук, тишина… Стук…

Василич повалился на пол. Вагон трясло, несколько пассажиров кинулись к нему, стали тоже трясти его. Поезд катился по чёрному тоннелю, и слабо мерцали лампы, и ещё слабее мерцали люди. Василич сделал вдох, схватил кого-то за руку и сказал:

– Мне завтра в школу!

– Что? Что? – не понял кто-то. Вокруг толпились, загораживали лампы, и электрический свет мелькал среди незнакомых лиц, сливался с ними и был ещё больше, ещё ярче, чем солнце. Василич повторил:

– В школу… – стук, стук. – Завтра… Как я пойду? Я ничему не научился в жизни. Ничему не научился… Не знал, что делать…

Василич сделал ещё вдох, а выдохнуть уже не смог. Тело

его тряслось на полу вагона, и какие-то люди тряслись над ним, и ехал поезд по тоннелю, все нескончаемые пятьдесят пять лет, и только теперь показалась станция, где можно, наконец, сойти.

Не прислоняйся

Маша досталась родителям незадолго до развала Советского Союза, и, хотя её очень хотели, родилась она неожиданно и на год раньше, чем планировали. Александра Игоревна ещё много раз будет потом возвращаться в то утро, когда Машу принесли ей на кормление и дочь вцепилась в неё большими чёрными, удивлённо блестевшими глазами. Этот взгляд, хватавшийся за всё вокруг, долго не отпускал Александру Игоревну. И когда в девяносто первом танки стояли у Белого дома, она прижимала дочь к груди и понимала, что подожди ещё, рожать бы уже побоялась. И такие родные чёрные глаза навсегда бы остались частью чужой вселенной.

Потом начались увольнения, стали рассасываться очереди в магазинах, люди побежали искать заработки. Александра Игоревна с тревогой думала: дадут ли им теперь квартиру? Они встали в очередь, едва родилась Маша: трое в однокомнатной, им должны были дать двушку. Но едва рухнул Союз и осколки его с прилипшими талонами и выходящими из оборота рублями полетели по России, квартирные очереди замерли и стали пухнуть и расти. Люди по-прежнему дыша-

ли друг другу в затылки, ругались на кухнях и били чужие чашки.

Михаил Романович с рождением дочери сбавил в весе. В те полубессонные ночи, когда Маша, капризничая, оглашала всю комнату, он ставил её кровать поближе и привязывал верёвку одним концом за полукруглую гирю в двадцать пять килограммов, другим – за деревянные прутья. Едва дочь начинала плакать, он дёргался во сне и пинал гирю. Та тяжело, долго качалась, и качалась детская кроватка, и затихала Маша.

Скоро стало голодно, и Михаил Романович полетел в Турцию, куда все тогда летали за дешёвой одеждой. Джинсы всех размеров и цветов заполнили однокомнатную квартиру и стали кочевать в маленькую точку на рынке в Подмосковье. Потом джинсы сменились детскими игрушками, и наборы в прозрачной, блестящей упаковке большими сумками встали на комнатном подоконнике.

Маша тогда ещё не знала, чем занимаются родители, но, исследуя закоулки квартиры, однажды наткнулась на эти сумки. Полезли наборы для юных врачей и полицейских, лаковые динозавры беззлобно распахнули свои пасти. Загремели погремушки, капризно запищали резиновые утки, медведи и Микки Маусы. Маша не любила такие игрушки, но набор юного доктора ей приглянулся, и, взяв сразу два, она стала прослушивать коротким игрушечным стетоскопом сначала саму себя, потом мебель и, наконец, приложила его к ок-

ну.

От окна холодно дуло. Стекло впитывало горячее дыхание и тут же делалось вновь сухим и непроницаемым. Маша переминалась с ноги на ногу и усиленно вслушивалась. Время шло, но стетоскоп молчал: ни у окна, ни у комнатной мебели, ни даже у самой Маши не билось в глубине сердце. Глухой инструмент, подумала Маша и, сразу как-то расстроившись, собрала вскрытые докторские наборы и сунула их обратно в сумку.

Родители ничего ей не сказали. Они тогда уже вдвоём стояли на рынке, и Маша, отданная в подготовительную группу детского сада, задумчиво ковыряла стену, у которой стояла её кровать.

– Спи, – шипела нянечка, пролетая мимо запахом белой хлорки.

Но Маша не спала. Стена разрасталась перед ней, обнажая в трещинах немыслимые серо-чёрные глубины, и Маша всё ждала, что однажды отковыряет там клад или же какой-нибудь стенной жук полезет оттуда на свет. Тёк тихий час, сочась по белым простыням. Ворочались во сне дети, зорко глядела нянечка, покачиваясь на стуле, и Маша тоже ворочалась, устав смотреть в дырку, и думала: скоро ли, скоро ли уже закончится этот сон? Зачем они заставляют спать? Я не хочу.

Детский сад она почти не замечала. Он мелькал в её днях ржавыми прутьями забора, за которыми творился мир, и

тёмно-красным кирпичом прогулочных веранд. Маша поднимала кирпичные осколки, камешки, палочки и рассовывала по карманам. В песочнице она иногда находила забытые кем-то игрушки из киндер-сюрпризов. Они ярко блестели, зарыв в песок головы, и Маша забирала их тоже. Если кто-то будет искать, думала она, я верну. Но никто не искал.

В школу её отдали в шесть лет, и в том же году Михаил Романович ловким движением рук достал из стены плюшевую черепаху. Маша могла поклясться, что смотрела прямо на стену и что черепаха возникла из ниоткуда на приставленной к стене руке.

– Как? Как ты это сделал? – толкала она папу, но Михаил Романович смеялся и отвечал серьёзным басом:

– Волшебство. Всё волшебство.

Долгими вечерами Маша пыталась достать из стены что-нибудь ещё. Но стена, покрытая ковром, только молча заплетала узоры. Распускались перед Машей квадраты, ромбы и чьи-то невнятные прямоугольные лица. Никаких черепах больше не было. Маша даже залезла под ковёр: выведать, нет ли там какой тайны, но ковёр пусто облепил её толстыми складками.

Спустя год бабушка взяла Машу на Красную площадь. Они поехали на метро, и Маша стояла у дверей, прислонившись лбом к стеклу. За окном летели голые деревья, тёмная, будто каменная Москва-река, краснеющая церковь, колючая проволока, спиралью изогнувшаяся над забором. Летело се-

роватое, клочками небо, похожее на каплю чёрной краски в воде, и поезд ухал в тоннель, шум рос, и тысячи колёс стучали по рельсам прямо в Машиной голове. А потом обнажался мост над рекой, и было видно Белый дом, и песочные высотки, и стаю уток, галочкой уходящих вдаль. Повисала в небе надпись «Не прислоняться», и Маша видела, как утки пересекают её, не замечая, и поезд снова врывался в тоннель. Теперь уже до самой Красной площади.

Там они зашли в храм, попав на середину вечерней службы, и густой, плотный запах ладана закружил Машу. Навалились со всех сторон иконы и люди. Бабушка дала Маше свечку и подтащила к высокому подсвечнику.

– Помолись за родителей, – жарко шепнула она, и Маша спросила:

– Как?

– Попроси, чтобы у них всё хорошо было, чтоб здоровы были, и ты их не расстраивала.

Маша попросила. Свечу воткнули в единственное свободное место, и та запылала среди других, таких же медовых, длинных, с отростками на теле. Служба подходила к концу, и бабушка потянула Машу за руку:

– Пошли.

Прямо напротив распахнул двери маленький магазинчик, и оттуда блеснули заставленные игрушками полки. Игрушки оказались из стекла: дутые, маленькие, разноцветные, они изгибались, сворачивались, рычали, поджимали хвосты и

растопыривали лапы. Блестело под ними стекло полок, блестели начищенные витрины, звенела иностранная речь покупателей в смешных ушанках, и Маша, оглядываясь, думала: как красиво, как хотелось бы…

– Бабуль, а ты не купишь?..

– Нет.

Машу обожгло обидой, и она пошла прочь по магазину вдоль витрин, пока не уткнулась в шкаф, невысокий, прозрачный, празднично отражавший всё вокруг. Игрушки там были другие: ещё меньше, ещё красивее, ещё дороже. Стеклянные хамелеоны, выгнувшие языки, застывшие ящерки с выпученными глазами-апельсинами, львы, кошки, жирафы с тонкими высокими шеями… Они были как леденцы, и Маша даже облизала губы в невыносимом желании потрогать эти стекляшки, ощутить их прохладную, гладкую, разноцветную поверхность. Вдруг бабушка задышала ей в ухо:

– Отойди, – сказала она. – Отойди от шкафа.

И тотчас отвернулась, поспешила назад, где уже успела с кем-то разговориться. Маша поглядела ей вслед, не понимая, почему она должна отойти, что такого в том, что она постоит у шкафа и посмотрит внутрь?

Иностранцы в шапках уже покинули магазин, и теперь он наполнялся сплошь русской речью: что, где, почём? Никто не смотрел на Машу, и бабушка – её большая, как гора, бабушка – затерялась среди этих людей, и нигде не было видно её серого взгляда.

Тогда Маша снова обернулась к шкафу и похолодела: одна его дверца была настежь распахнута. Маша ощутила в горле острый, горячий комок и, проваливаясь в твёрдый пол, сделала шаг, ещё один, ещё… Она стояла у самого шкафа, и никто, никто на неё не смотрел, даже продавщица – широкая, улыбчивая женщина, которая механически упаковывала покупки. Чик ножницами: лента на коробке скручивается в широкий бант, и следующая покупка вырастает на прилавке.

Маша вцепилась глазами в полочки, и стоявшие на них стекляшки замерли в ожидании. Ей даже показалось, что они тоже смотрят на неё крохотными стеклянными глазами, чувствуют прозрачной кожей её присутствие и ждут, ждут: кого же она выберет? Ладони её взмокли и похолодели, и, поднимая тяжёлую руку, она ощущала, как бьющееся сердце раскачивает тело взад и вперёд. Лягушка, подумала она, я хочу ту лягушку. И горячая волна побежала по горлу.

Лягушка была в болотно-синих пятнышках, и согнутые лапки её тонкими, длинными пальцами торчали в разные стороны. Она оказалась такой маленькой, такой гладкой и холодной, что Маша с наслаждением сжала её во влажной ладони и отступила от шкафа. Волосы чуть взмокли, глаза забегали по магазину: неужели никто не видел, никто не смотрел? Она сглотнула ещё раз. Никто. Никто. И Маша сунула лягушку в карман.

Потом они останавливались в переходе, глазели на какие-то ещё витрины, тёмные, сумрачные и заляпанные, шли

дальше, и низкие потолки качались над ними, и какие-то люди, в шапках и распахнутых пуховиках, бросались навстречу. Маше было неинтересно. Ей хотелось приехать скорее домой, и чтобы бабушка оставила её у двери, и тогда Маша пойдёт не спеша, делая вид, что она просто возвращается с обычной прогулки, повернёт ключ в замке, откроет, закроет и начнёт неторопливо разуваться. Дома ещё никого не будет. И Маша сядет на диване, достанет из кармана стеклянную лягушку, оглядит её со всех сторон и положит на колени.

– Ну вот ты и дома, – скажет она ей.

И лягушка станет тёплой и совсем-совсем своей. А сейчас, пока они ещё не доехали до дома и застряли между там и здесь, Машу нёс поезд, и всё ей казалось, что какая-то сила тянет лягушку назад. И надо было ехать, далеко-далеко ехать, и потом ещё идти, и потом запереть дверь, и потом положить лягушку в коробку, и закрыть коробку, и тогда – тогда лягушку перестанет тянуть назад, и она останется.

«Не прислоняться», – прочитала Маша на трясущейся двери вагона. А почему не прислоняться? Что такого, если кто-то прислонится? Ведь она, Маша, ехала недавно в поезде, давила лбом на стекло, и из-под её взгляда утекали дома и деревья, и ничего, ничего не случилось. Почему нельзя прислоняться? Маша хотела спросить у бабушки, но та тяжело дремала, сидя рядом, и Маша, перекатывая пальцами лягушку в тёплом кармане, тоже стала засыпать. Поплыли перед глазами какие-то люди, переходы, поезда, полетели утки над

головой. Наклонялась сбоку бабушка и шипела на Машу:

– Отойди. Помолись, – говорила она. – Не прислоняйся.

И была бабушка в белом нянечкином халате, и пахло от неё белой хлоркой.

Дмитрий Близнюк

Дмитрий Близнюк публиковался в журналах «Знамя», «Нева», «Новая Юность», «Сибирские огни», «Плавучий мост» и других изданиях. Лауреат нескольких международных конкурсов. Автор книг стихов «Сад брошенных женщин», «Утро глухонемых», The Red Forest (Fowlpox press, Canada). Живет в Харькове.

Зимний день светился изнутри…

Эхо невозможного

фонари проспекта
с двумя головами:
одна нависает над второй, как самец гадюки над самкой,
а люди внизу проходят сквозь
прозрачные мясорубки времени мельчайшие,
не замечают, как их крошат на морщины,
на пыль и седение.
тощие скукоженные ангелы старости
наполнены слабоумием, как розовым сиянием.
это – чувство угля, который швыряют в топку,
а там кубический джинн огня
брыкается сотнями ног в чугунной колбе.
«бесссссмертие» –
если произнесешь вслух сто раз подряд,
услышишь
шум далекого прибоя.
это вечность бьется о берега
несуществующего моря головой,
как рыжий веснушчатый Наполеон в дурдоме.
это – эхо невозможного. желание золотой пробки

создать нечто сложное и прекрасное.
живую рыбку.
наградить сознанием, вместилищем эмоций,
чтобы понял однажды – ты умрешь. исчезнешь. но – о чудо!
слепой котенок в ведре с водой не тонет,
он научился дышать под смертью.
вот-вот откроются его глаза.
но как же выбраться из ведра
Вселенной?
и длится осознание.
беснуется штрихованный дождь за окном.
неужели. неужели. неужели.

Самурай

эта женщина —
лакированная змея
в черном обтягивающем платье,
сбросила мускулистого офицера с края доски –
прямо на синтетический ковер.
впилась ногтями в грудь. черт, черт.
эта женщина – как лезвие без рукояти
в своих обморочных платьях…
режет глаза и руки, как ни держи ее.
ты особая, райское яблоко, уже начавшее гнить,

темнеть. курага сосков,
аромат рыбок, стянула трусики,
а я точно кот возле аквариума.
и спустя половину ночи
голый, изможденный я
выхожу на зимний двор,
а она уже спит. на заднем плане картины
пускает винные пузырьки в потолок
роза, накрытая марлей, рот – тлей,
и я смотрю
на флаг в соседнем дворе – в морозном ночном воздухе
тяжело, плавно застыл, как холодец.
как медуза, выброшенная на черный берег,
раскрашенная пульверизаторами в желто-голубой.
но где моя родина?
она – это небо,
эта женщина в спальне.
и вспыхивает озарение, как молния, как зубная боль,
понимание всей жизни —
мгновенный денежный перевод смысла
из точки А в точку Б.
и я, показавшись зимней вселенной во всей красе
подтянутого сорокалетнего кентавра,
возвращаюсь к ней в постель –
холодный, дрожащий, как насос
в трюме тонущего корабля.

таю. ледник. горячая кожа. бархатный жар.
списпи.
обнимаю лезвие…

* * *

зимний день светился изнутри:
сом, проглотивший фонарик.
мягко вечерело, замерзший снег цеплялся за кусты,
как белая птица с белыми когтями.
и праздничное нечто царило повсюду:
кофейни, дома, прохожие, машины,
город облили сказочностью,
осыпали блестками, конфетти,
и даже наивная пошлость праздничных витрин
и новогодних реклам умиляла – дочь мачехи,
которая ничего не добьется в этой сказке,
и ее немного жаль.

на столике-таксе осколки шоколада –
ты выела весь миндаль, как белка.
возле кровати вязанки книг.
мы недавно переехали
на съемную квартиру. и зима, и сом со свечой,
этот образ пришел, когда ты прикуривала у окна,
отразившись в стекле, как свет сварки в пещере,

где волы, и волхвы,
и зеленый младенец мужского пола,
цветок алоэ,
которого ты мне не родишь через год,
и сказочно, и страшно, и хорошо.

а где-то рядом война,
и другие бессонные демоны бытия
шатаются,
как разбуженные гризли посреди зимы,
но нам на это наплевать, нам все равно.
тот день, когда мы разожмемся, как челюсти питбуля
на подвешенной автомобильной шине – на фоне заката,
тот день, когда
жидкокристаллический
терминатор пройдет сквозь свою самку,
перемешавшись мирами,
ртутными головастиками, единицами и нулями.
и теперь мы сможем только отдаляться друг от друга,
так галактика проходит сквозь галактику,
как нож сквозь нож.
не оглянуться, не сломать шею,
и это – благодарность, благонервность.

прошлое – мальчик, рухнувший вместе с балконом
с девятого этажа,

без шансов на спасение,
на общее будущее.
но, представь, теперь —
у каждой женщины устрица твоего лица,
водяной знак на просвет синюшных губ,
огнестрельных глаз,
миллиарды твоих копий шуршат платьями
во всем мире —
от старух и до детей.
это – медузный бал привидений в твою честь
или – снегопад людей, и мы, полубоги, пошли за кофе,
и открываем рты, и ловим снег.

* * *

это только кажется, что так легко написать:
не жалею, не зову, не плачу.
вызволить из тьмы шахтеров невыразимого.
но сколько должно пройти тысячелетий эволюций,
борьбы и крови, поглощения себе подобных,
бесподобных, чтобы родилось на свет:
все пройдет, как с белых яблонь дым.
человечество, как плодожорка,
прогрызает кровавый тоннель в яблоке времени,
не покидает ощущение, что еще кто-то живет за мной,
волчонок ступает в следы лап матерого волка,

кто-то толкает тебя – камень перед собой,
или я иду, и кто-то живет впереди меня,
и это следы когтей дежавю, сколы времени,
послания во времени, царапины на металле.
и так слой за слоем, смерть за смертью
отшлифовывается бриллиант бытия.
и это не пищевые цепочки, нет, но подвесные мосты
качаются под нами, над нами, железные лианы,
скрипят, визжат и охают карусели
на перекрученных цепях,
и наши инкарнации переплелись, смотри,
можно дотронуться до плеча
девушки-ветра с беличьим лицом…

* * *

и тонкий листик скачет прямо,
невесомо,
хореографически красиво.
отталкиваясь конечностями от асфальта,
как боец кунг-фу на показательных выступлениях осени.
и я еду к тебе в Сибирь,
сквозь 3500 км,
купил торт и апельсины.
и валит первый снег,
и тотчас превращается в воду.

и сквозь железные швы в полу грохочущего трамвая
выдуваются пузыри,
точно кто-то дышит под нами.
задыхается рыба под грохотом колес.
легкое железного дровосека,
пробитое ломом.
или некто, утонувший во времени, сквозь
тростинку
разума дышит…
но нет.
это законы физики,
натяжения и ветра,
силы, скорости,
с которой я еду к тебе
и не могу точно понять,
кто я на самом деле? охотник с чехлом,
или гончая сука,
или хозяин.

Роман Богословский

Роман Богословский – автор книг прозы «Театр морд», «Трубач у врат зари», «Зачем ты пришла», а также первой авторизованной биографии рок-группы «Агата Кристи». Публиковался в журналах «Дружба народов», «Нижний Новгород», «Новый берег» и других изданиях. Высту-

пает как публицист. Живет в Липецке.

Найти убийцу Нины
Повесть

Intro

Представьте себе маленькое изящное колесико. Как у кареты Золушки в той самой сказке – с вензелями, с причудливой гравировкой. Что там изображено? Прекрасные птицы? Сказочные звери? Неведомые существа? Это колесико крутится в полной темноте, в бесконечном пространстве. Без оси – само по себе. Медленно вращается под сопровождение музыки, которая обычно доносится из старинных шкатулок. Его обод с внешней стороны сплошь облеплен сапфирами, изумрудами, бирюзой. Камешки мелкие, но сверкают до невозможности ярко! Они ослепляют и в то же время заставляют собою любоваться.

Колесико вращается так медленно, что можно рассмотреть блестящие пылинки, каждую из них, хотя их бесчисленно много на его поверхности. Кто клеит столь чудесные драгоценности к нашему колесику? Там – в темноте и пустоте? Надо признать, мы этого не знаем, читатель. Ни ты, ни я. Я знаю лишь, кто на это великолепие смотрит. Расскажу и тебе. В свое время.

Здравствуйте, мои! Сколько же сложных красивостей наговорил этот недоумок. Колесико, сапфиры, блестящие пылинки – полное дерьмо. Отныне говорить с вами буду я. Зовите меня просто – Умный. Видите ли, сегодня умному нельзя напрямую так себя называть. Люди мнутся, шаркают ножкой, лицемерят, несут слюнявый бред вместо того, чтобы просто сказать: да, я умный. Умный – и все тут. Мне проще. Вы меня не знаете, лица моего не видели – так что извольте. Давайте познакомимся. Умный.

Для начала мне хотелось бы представить вам Алекса и Нину, эту великолепную пару любящих друг друга людей. В первой главе вы узнаете, как Алекс и Нина легко и весело, но в то же время со смыслом проводили время вместе, как сильны были их взаимопонимание и чуткость друг к другу. Я поведаю вам, как исступленно Нина любила детей, а Алекс желал стать добрым христианином.

Сколько живу на свете, с каждым днем убеждаюсь все больше: как это прекрасно – иметь рядом родственную душу, жить в ощущении счастья, уважать друг друга. Право, об этом можно только мечтать! Лишь грезить и ничего более! Но этим двоим повезло. Ты перебил! Ты снова меня перебил! Дай мне закончить! Тихо, заткнись, все уже начинается…

Голос лампочки

Алекс скользил, как полудохлый угорь.

Елозил туда и сюда по ляжке Нины. Она притворно постанывала, не хотела обижать его молчанием. Ей было досадно, она снова не понимала – почему он трется об ногу, почему не входит в нее. Никогда не входит внутрь.

Комок простыни забился под живот, лежать было неудобно. А он водил по коже все быстрее, словно спешил.

Потом сбавил темп. Стонал дико, улыбался криво.

– Тебе приятно? – спросил шепотом.

– Да, – соврала Нина, – но ты можешь сделать мне еще приятней…

– Неужели? Куда ж еще приятней?

Нина притворно закатила глаза:

– Зачем же снаружи, когда можно внутрь…

Алекс прикрыл веки, выпятил губы, нахмурился. Лоб покрылся буграми и рытвинами, словно Голгофа после ливня.

Выдохнул. Больно схватил Нину за волосы:

– Послушай, невеличка. Откуда тебе знать, как нужно? Вот откуда, а? Тебе что, мама об этом в детстве рассказывала? Или папа в книжках читал? В школе учительница биологии говорила? Оставляла после уроков и рассказывала: «Ниночка, когда ты вырастешь, с тобой всякое может случиться! Знаешь, есть на свете такие ублюдки, которые могут раздеть,

поставить раком, и как только ты закроешь глазки в предвкушении, ничего не произойдет – тебе лишь пощекочут елдыганом задницу, и на этом все закончится». Да? Говорила учительница? Или вам в институте это преподавали?

Нина дернулась, он отпустил ее волосы. В его взмокшей ладони остался небольшой клок.

Повернулась на спину, прижалась к изголовью кровати, поджала колени:

– Милый, я прошу…

Алекс навис над ней, тыча указательным пальцем Нине в лоб:

– Что ты просишь? О чем ты, невеличка? Ты думаешь, я не знаю, что надо делать? Я, по-твоему, самец медузы? Мне не нужны твои комментарии, слышишь? Сама ты медуза. Мне не нужно твое смехотворное мнение.

Он сунул руку под подушку, достав оттуда блестящий Colt Python, и приставил дуло к уху Нины.

– А может, ты этого хочешь? Холодненький, да? В одно ухо влетит, из другого вылетит, а? Прямо как знания школьницы.

Нина задрожала, сглотнув волну слюны.

Алекс смотрел на нее молча, словно искал что-то в лице ее. Медленно наклонял голову, изучал. Затем поцеловал Нину в щеку, в глаз, в губы, в другую щеку. Он целовал ее лицо все быстрее, безумнее. И все сильнее прижимал дуло пистолета к ее уху.

Заулыбался. Кривляясь, пропел детским голоском:

– Девка клевая, колоритная, Нина глядная, Нина сытная… ла-ла, ла-ла…

Сейчас же посерьезнел, словно разозлился на себя:

– Расскажи, как это было с ним. С этим твоим извращугой, который молился воронам. Рассказывай или пулю съешь. А она – живая… Разрастется внутри как опухоль. И ни один врач не вырежет. Только сунет в тебя свой нож, а пуля в него – бу!

– Прекрати юродствовать, ты похож на отрыжку клоуна, – она играла в спокойствие. – Ты же знаешь, он был болен.

– Да нет, я не знаю. Откуда мне? Почем мне знать, от тебя всегда одни полунамеки. Слушай меня. Я просто хочу знать. Просто знать. На что мистер дохлый ворон тебя натягивал. Или куда натягивал. Ревности нет. Это не ко мне. Есть интерес. И азарт. Ты никогда мне не рассказывала. Допустим, про болезнь его я знаю. Что редкая была, тоже знаю. Но в чем заключалась конкретно? Вот что мне нужно.

Нина молчала, прикрыв глаза, покусывая губы.

– Никаких секретов, помнишь? Ни-ка-ких, – Алекс хамовато ухмылялся.

– И это мне говорит человек, о котором мне почти ничего не известно? Это ты мне говоришь про «никаких секретов»?

– Я и ты – разные планеты. Разные системы. Разные туфли.

– Но на одной ноге…

– Не начинай. Говори. Рассказывай.

Нина задумалась:

– Да вот понимать бы, с чего начать. Все это было странно. И шутки твои эти… знаешь…

– Как он тебя имел, милая, я прошу. Расскажи мне ваши семейные тайны…

Она причмокнула с грустью, расширила глаза:

– Не натягивал он. Никуда и ни на что. Не так это было.

– Очень никогда!

– Я сейчас обделаюсь от твоей тупости. Загажу любимый ковер.

– Слишком никогда!

Она потупилась, смирилась. Стала говорить медленно, словно украдкой вылавливала каждое слово из мутного озерца памяти:

– Он… коллекционировал изображения ворон. Он считал, что жизнь на земле произошла от них. До сих пор содрогаюсь… он считал так безо всяких доказательств. Согласно личным убеждениям и навязчивой вере. Понимаешь, он верил, что ворона – причина возникновения всего сущего. Сознание, материя, ум… Все это заключено внутри глобальной вороны-матрицы.

Алекс закашлял сквозь хохот:

– И ты не рассказывала мне этого раньше?! Да как тебя земля носит?! Да как свежий воздух мирно трахает твои легкие?! Да как фотоны попадают тебе на сетчатку?! Так, – Алекс попытался стать серьезным, чтобы окончательно не

обидеть Нину, – а почему он коллекционировал именно изображения ворон, а не, скажем, их чучела?

Нина хмыкнула:

– Ты можешь представить себе христианина, который не иконы с изображением Иисуса повесил дома на стену, а чучело самого Иисуса?

– Ох как ты дала! Ох и в темечко! Ох и в сплетеньице… Чучело Иисуса! Гореть тебе в пламени адском за такое, проклятая грешница! Ведьма, ты воняешь серой!

Пропустила мимо ушей, продолжала:

– Естественно, он изучил, как вороны занимаются сексом. Он знал об этом все. Но всегда помнил и повторял, что апостола Петра распяли вниз головой. То есть Петр считал себя настолько недостойным Господа, что попросил не распинать его так же, как Христа.

Мой муж этим восхищался… Он боготворил Петра. Единственного из людей. В общем, о том, чтобы заниматься сексом так, как это делают вороны, не было никакой речи. Но… своим перебитым надвое разумом он придумал концепцию того, как занимаются сексом изображения ворон. Он все продумал до мелочей. Даже разработал целую систему, какая бумага с какой может соприкасаться, в какие дни и часы. Какая картина, гравюра, открытка, этикетка – что угодно! Он написал целую работу, десятки страниц.

Как только он завершил концепт, его неприятно осенило: так же, как изображения ворон, он сексом заниматься тоже

не может! Он – всего лишь человек. А значит, хуже, грязнее, мельче, чем даже изображение вороны.

Нина умолкла, окунувшись в раздумья. Волосы нехотя упали на глаза.

– И? Дальше. Дальше, невеличка.

– А дальше… он разработал систему. Отражение изображения вороны… Он мог со мной трахаться только в качестве отражения изображения вороны. Точнее – ворона.

– И каким же образом?

– А тут как раз все еще сложнее. Он смастерил два квадратных щита из алюминия. С двух внешних сторон крепил на них по белому баннеру, где был изображен черный ворон с эрегированным членом. Причем член был человеческим. Он срисовал его со статуи какого-то жирного китайского божка. Сам член был гораздо длиннее всего тела идола. Он крепил алюминий на руки, подобно щиту – просовывая кисти в петли. Спереди и сзади были аналогичные изображения, только поменьше.

Потом я устанавливала зеркало – оно было точь-в-точь таким же по размеру, как и площадь щита. И все. Вот и все. Нравится?

– Как и все? Ты что? А сам трах-тибидох? Само действо?

– О! Тут как раз все просто. Я лишь командовала: «Арк».

– Почему арк? Что это за слово?

– Кар наоборот – будет рак, да? Но ведь, с его точки зрения, человек не имеет ни малейшего дозволения сказать сло-

во «кар» даже наоборот. Он переставил буквы – и получилось «арк». Это как бы не кар и не рак, а нечто среднее между ними… анаграмма.

Алекс присвистнул:

– Вот это талант, вот это умище.

Нина поплыла ко дну воспоминаний:

– Потом он начинал двигаться, изображая фрикции. А я корячилась у зеркала, чтобы нарисованный пенис хотя б примерно попадал туда, куда надо. Сам-то он из-за огромных щитов ничего не видел.

– Супруги должны доверять друг другу! – Алекс захохотал.

– …а потом он кончал. И прыгал, прыгал, прыгал. И кричал: «Отражение изображения ворона в очередной раз поимело живую человеческую бабу! Арк, арк, арк, арк…»

Алекс хохотал, задрав голову к потолку. Округлые мышцы взбугрились, словно волны океана.

– Зря гогочешь. Сам-то что? Трешься, как жухлая морковка о терку. Намного лучше, что ли?

Алекс не унимался, макая слова в смех:

– Слушай, теперь я буду тереться об изображение твоих ягодиц… Я же… я же… недостоин… не… недостоин. Отражение изображения невеличкиной жопы. Ха… ха-ха-ха-ха!

Он бросился к ней. Уже не целовал – кусал, облизывал, оставляя слюну на щеках.

Стонал:

– Дорогая моя, хорошая… Милая моя… Давай еще. Давай сделаем это еще… Начнем снова, все сначала… Давай вот так…

Алекс убрал дуло от ее виска и стал медленно водить им по ляжке.

Шептал с улыбкой:

– Вот видишь, как? Видишь? Вот так, да, вот так… Как приятно. Моей девочке приятно, не кому-нибудь. Конечно, приятно. Сильно приятно…

Нина перестала дрожать, стала медленно облизывать губы, открывая глаза наполовину и снова смыкая их. Она покачивалась в такт его движениям. Выпрямила ноги, развела их в стороны, сползла чуть ниже.

– Мой хороший… Боже… Как хорошо…

Алекс швырнул пистолет на пол:

– Говори мне, говори… Я… Я приму каждое твое слово, как новорожденного младенца на руки. Говори же… Расскажи мне… Я должен знать все, что ты видела вчера в камере. Я купил ее только для тебя, – он сложил руки на груди в молитвенном жесте, притворно закатил глаза, – да возрадуется, сидя на своих кислотных облаках, благословенный Учитель Джон…

Нина несколько раз вздохнула, закрыла глаза. Веки запорхали как крылышки.

Начала говорить, но будто сомневалась в каждом звуке, слоге, слове:

– Когда я вошла туда, внутри было почти темно. Лишь одна тусклая лампочка мерцала высоко под потолком. Ее свет словно сообщал мне что-то. Сначала казалось, что она просто моргает. Потом я будто проникла в ее таинственный язык. Я даже услышала голос – голос лампочки. Он был похожим на… звуки, издаваемые младенцем. Я приложила столько усилий, чтобы понять его сообщения. Точно знала – они исполнены смысла. Но стоило пониманию прикоснуться к краешку моего разума, как голос стихал, а лампочка снова становилась просто мигающей лампочкой. Понимание было совсем рядом, но ускользало в последний момент.

Алекс встал, положил на столик пистолет, надел футболку и трусы, сел в кресло, налил себе стакан грейпфрутового сока.

Голос Нины зазвучал более уверенно:

– Я медленно пошла вперед по коридору. Мне было холодно. Сквозняк летал везде, приходил со всех сторон. Казалось, даже сверху и снизу.

Помню стены. Они не были прочными. Странные, жидкие стены. Можно было коснуться их рукой, и она завязла бы в дымчатой субстанции. Краска со стен кое-где облетела, образовав фигуры. Они были похожи на фрукты. Знаешь, как это бывает с облаками? Они всегда что-то напоминают. Фрукты… Яблоки, абрикосы, сливы, бананы… Это меня возмущало и злило. Мягкий, податливый коридор – и вдруг эти идиотские фрукты.

Он массировал виски, позевывая:

– Подожди с эмоциями. Дай мне просто сухие факты.

– Прости… – Нина прикурила сигару. – Коридор закончился, и я вошла в огромный ангар или цех… Справа на стене виднелось небольшое окно. Синий свет сумерек еле освещал пространство. На полу под ним что-то шевелилось. Я подошла. Это была собака. Обычная серая дворняга. Она тихо скулила, находясь в полусне. Мне показалось, что ее тело пульсирует. Я не знаю, как объяснить. Так не может вести себя тело в физическом мире. Собака содрогалась – и словно обрушивала каждой судорогой часть пространства.

Алекс встал с кресла, развел руки в стороны, суставы хрустнули. Мускулы пошли буграми и перекатами.

– Что было дальше? Слева, там что-то было слева? Что ты видела?

Нина закрыла лицо ладонями, голос ее задрожал:

– Нет, нет… Я не знаю, что там было слева, я не могла туда посмотреть. Левой стороны пространства словно не существовало. Я даже думать не могла, что туда можно смотреть. Это как пятый угол, понимаешь? Все о нем говорят, но никто не может вымести из него мусор или, наоборот, швырнуть туда фантик. Левой стороны просто не было. Только то, что справа, и то, что впереди. Окно, собака, синие сумерки.

Алекс выхватил у нее сигару, пересел в другое кресло, дым укутал его голову и плечи, словно живая шаль.

– Окно, собака, синие сумерки, – мечтательно повторил.

Голос Нины стал низким и монотонным, будто в плюшевой игрушке садились батарейки:

– Я пошла дальше, в темноту. Но там было не совсем темно. Спереди исходило свечение. И снизу, сверху, сбоку – единого источника света не было. Белый такой… бледный свет. Я вдруг почувствовала что-то на носу, нечто холодное. Затем на лбу, на шее.

Это был мокрый снег. Меня нисколько не удивило, что снег идет в здании, в этом коридоре. Меня охватил восторг. И чем больше я ликовала, тем гуще и тяжелее становились хлопья. И когда я затряслась от мощнейшего оргазма, началась настоящая метель… пурга, с завыванием ветра и ледяным дождем.

Я вошла в огромное помещение, по которому были раскиданы столы, стулья, больничные каталки…

Вспыхнул яркий свет, и метель в мгновение стихла.

Абсолютная тишина. Лишь только лампочка тихо жужжала, уже ничего не сообщая. В тот миг мне так сильно захотелось посмотреть влево, что волосы на левом виске зашевелились и левое ухо уловило какие-то звуки.

Прислушалась: женский хохот вперемешку с грохотом марша. Показалось, что кожа моя отслаивается и падает к ногам вместе с волосами. Вываливаются глаза, выпадает язык, сыплются зубы, ногти, пальцы, валится голова с плеч.

…И бьется об пол кровь, выпадая кусками из вен. Тяжелая, словно чугун.

И я вдруг ясно осознала, что именно это и нужно. Страх отступил, пришли покой и ясность. Все случилось именно так, как и надо. Знаешь, понимание такой глубокой степени не требует доказательств и обоснований. Меня словно щекотали изнутри десятки детских пальчиков.

Я по-прежнему стояла на месте. Или что-то стояло вместо меня. Это было цельное существо. Сильное, обновленное.

Постепенно свет начал гаснуть. Я погрузилась во мрак. Вокруг замельтешило, пространство съехало набок. Именно так и было – набок.

– Пространство набок… Нин, как-то не очень. Слишком примитивно… Напоминает плохой мистический триллер, – Алекс был разочарован, смотрел на Нину с неприязнью.

– Может быть, ты пробыла там слишком мало, чтобы как надо оформить концовку? Мне все понравилось, правда. Впечатляет. И лишь концовка провальна. Твоя поездка содержала поразительные картины. Снег в здании. Темнота. Собака в полусне – так это вообще шедевр! Но вот пространство набок – это уже отсебятина. Только представь – пространство набок. Трудно представить. Ты больна, Нина. За это я люблю тебя. За болезнь, невеличка. Я люблю шептать тебе в ухо всякие пошлости, когда ты спишь. Я люблю тебя. Вот тебе от меня любовный экспромт:

Охмелевшие сунели
Покатились на санях.

Девки пили, девки ели
На Егоркиных мудях…

Захихикали, словно подростки.

Нина посмотрела на Алекса с мольбой:

– Алекс, любимый, я именно та, кто нужен тебе. Я принесу тебе в своем клювике самое лучшее – жизнь, полную жара и смысла. Я…

Он затряс головой, начал заводиться. Насупился, выпучил глаза, зрачки расползлись по сторонам света, в легких засвистело:

– Я?! Снова это твое «я»?! Я, с которым было столько борьбы? Столько труда? Как, как ты можешь все время возвращаться к одному и тому же – к станции, с которой давно отправился поезд, улетел самолет и уплыл корабль? Послушай меня. А что такое твое «я»? Рассказать тебе?

Представь себе дерево… нет. Представь, что ты – плафон, закрывающий лампочку… нет. Представь себе решетку для жарки мяса на костре. Ты – просто решетка для шашлыка…

…вот ты наложила на нее жирную сочную свинину – с нее течет, капли шипят в костре. Это и есть твое «я» – просто мертвая свинина на решетке. Лишь только бесформенные обугленные куски. Твое «я» существует лишь тогда, когда мясо пригорает к прутьям. И чем больше мертвая плоть животного вдавливается в решетку, тем больше ты ощущаешь себя собой. Самый веселый процесс начинается, когда

румяные куски начинают с решетки снимать, чтобы скорее набить ими утробу. Только в случае с тобой их снимать некому, кроме тебя самой.

Нина поджала ноги, внимательно слушая. Изящная морщинка разделила ее лоб надвое.

– …куски снимают, окунают их в острый соус и едят. Но твое «я» все еще существует. Не так, как прежде, но ты все еще думаешь, что ты – это ты. И знаешь почему? Небольшие кусочки мяса на решетке все еще остаются: пригоревший лук, остатки специй, капельки жира – все это еще липнет к металлу прутьев. И ты думаешь: «Какая-то я больная, никчемная, вечно уставшая и в депрессии – но это все еще я, да, это определенно я!»

И это правда все еще ты! Ты – пригоревший лук в каплях жира, свисающий с железных, еще теплых прутьев решетки для шашлыка. Обугленная мертвечина – это все еще ты.

А потом начинается самое страшное. Решетку приносят и кладут в теплую воду. Добавляют в нее моющее средство. Ты когда-нибудь мыла решетку после жарки на ней сочной свинины с луком и специями? Даже в теплой воде, даже с хорошим средством остатки шашлыка плохо смываются, словно срослись с металлом. Так жарок был огонь.

И тогда тебе кажется, что вся твоя жизнь – только порывистый ветер, разносящий запах жареного мяса по округе.

Но вода и средство делают свое дело. Постепенно решетка становится просто решеткой – блестящими прутьями. Ее

вытирают и убирают в кладовую до следующего раза.

Так кто же ты? Куски мяса, которые давно съели? Лук? Вода? Моющее средство? Дым над водой? Где я – спроси себя. Может, ты – чистая решетка? Нет. Решетка – это просто средство. Она лишь потенция. Она – возможность. Твое «я» – это то, что стекает по канализационной трубе вместе с другими отходами. Теперь ты можешь гордиться собой, да? Вот теперь ты человек с большой буквы. Ты звучишь гордо. Трубы, баяны, саксофоны, тарелки – бу-бу-бу-бах!

Алекс выкрикивал все это, надевая рубашку, брюки, пиджак, галстук.

Он собирался на встречу. С кем? Он никогда не говорил. Может, с политиками. Или с военными. А то и с мафией.

Нина могла лишь гадать.

И пока он не ушел, ей хотелось отомстить ему за этот лук, куски мяса, вонючий ветер и решетку. Нина никогда не спускала ему злых выкрутасов. А после того как вчера он объявил ей, что собирается стать хорошим христианином…

Нина чеканила, резала воздух на ровные ломти:

– Ты знаешь, что каждую секунду в мире умирает примерно два человека? Но не это тревожит. Каждые три секунды происходит смерть ребенка до пяти лет. Восемь тысяч четыреста детей до пяти лет за семь часов. Вот ты собираешься стать хорошим христианином. Но как быть с этой цифрой? Какому Богу ты будешь поклоняться, кому ты собираешься служить? Богу-убийце восьми тысяч четырехсот детей в

день?! Это, кажется, он говорил в своей Библии: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное?» Вот оно что, милый. Вот в чем дело, да? Пустите ко мне детей. Целый стадион в день. Не многовато ли твоему доброму Богу, а? Закрой глаза, ты же писатель в душе. Просто представь себе такое количество мальчиков и девочек. Они смотрят на тебя. Черные, белые, желтые и коричневые. Они смотрят с немым вопросом в обиженных глазках.

…Ты стоишь тут, а они смотрят. Некоторые лежат в колясочках. Другие в шортиках и маечках. Третьи в шубках и шапочках. Четвертые лишь в набедренных повязках. Пятые в хиджабах. Есть и другие – с опухолями, одноглазые, безногие, с огромными головами, кровоточащие носом и ртом, и каждый смотрит на тебя. Нет такого Бога, который имеет право забрать восемь тысяч четыреста детских жизней в день. Это не Бог. Это кровавый оборотень, черный и липкий, как вороний член.

Алекс смотрелся в зеркало, поправляя волосы на висках. Со столика упала расческа, он поднял ее и сунул в задний карман брюк, затем присел на корточки, насмешливо глядя на Нину.

Невинно и ласково заговорил:

– А я уже рассказывал, что хочу стать христианином? Что-то не помню. А впрочем – какая разница. Понимаешь, моя верная и искренняя Нина, смерть ребенка – это не самое

страшное, что может произойти. По сути – это фикция, пустота. Кусок дерьма без самого дерьма. Просто нас приучили, что ребенок – это самое дорогое, что только можно представить. Но самое дорогое то, чего представить нельзя. То, чего не произошло. Прошу, ухвати сейчас эту мысль, иначе ты так и не поймешь.

Это… нечто такое, по сравнению с чем смерть даже всех на свете детей покажется лишь сплющенной жабой, которую камнем прибил злой подросток. Прыщом даже не на заднице, а где-нибудь на уже подстриженном ногте.

Ты не можешь думать и рассуждать о том, чего нет, так? Но этого, гораздо большего зла и разрушения, нет как раз по большой милости Божьей. Таков человек. Ему не хватает ума, фантазии, воображения. Мы не можем мыслить о том, чего не произошло; о том, что лишь таится где-то за Божьей спиной, в мешке, накрепко завязанном веревкой из солнечных лучей.

В самом деле, как осмыслить то, чего не случалось и чего нельзя представить? Смерти всех этих детей, Нина, лишь колесико в шкатулке, которое медленно крутится и мерцает сапфирами душ. Детская смерть нужна, чтобы услаждать Божьи глаза и уши. Колесико крутится, музыка играет, души танцуют. Кто знает, Нина, может, именно это зрелище и сдерживает Господа от действительно страшных допущений и кар, которых заслуживает этот мир?

Нина злобно глянула на Алекса, выставила обе руки впе-

ред, выпустила из кулаков два указательных пальца:

– Ты и твой придуманный Бог – вы оба больные мрази. И нет вам места ни на земле, ни в небе, ни среди живых, ни среди мертвых. Смотрите на свои алмазы, крутите колеса, наслаждайтесь своей музыкой для трупов с оркестром. Делайте что хотите. Но только без меня.

Вот такая нервная девушка, читатель. Надеюсь, ты рад, что с ней познакомился? Избранник ее, Алекс, я вижу, тоже пришелся тебе по душе? Признаться, не вижу ничего особенного в этом. Сильные персонажи – это примерно 70 % успеха литературного произведения. Да, они занимаются обычными, подчас даже скучными, вещами в жизни. Но в целом люди хорошие, любят друг друга, имеют незыблемые ценности, принципы, выносят весьма жизненные суждения. Оба. В конце концов, разве нам не весело всем вместе? По-моему, очень даже да. Я прошу тебя! Дай мне сказать! Я не договорил! Прекрати лезть вперед меня, умный больно! *Ты снова не вовремя, идиот. Остынь. Дай рассказу продолжиться. Тем более – мы идем в далекое прошлое нашей великолепной Нины…*

Воспоминания Нины № 1

«В тот день я впервые в жизни попробовала спиртное. Мы сидели с девками, слушали музыку. Это было дома у моей

подруги Ленки. Мне шел шестнадцатый год. Выпили не так уж много – бутылку водки на пятерых, но я была самая пьяная. Сначала просто хохотали, как дурочки. Потом возились на диване, плясали, громко ругались матом, падали на пол.

Сама не помню, как вышла из дома. И просто пошла по дороге. Потом провалилась в беспамятство. Когда память вернулась, передо мной была дверь, ведущая в чей-то чужой дом, – облупившаяся краска, погнутая ручка, хлипкие петли.

Я вошла. И снова отключилась.

Вспышка. Я открываю глаза – передо мной полумрак и силуэт какой-то незнакомой бабки. Она в платке, лицо перекошено, в шрамах. Она смотрит на меня, водит зрачками, словно рисует на моем лбу невидимой кистью. Мне плохо, водка лезет назад, внутри жжет.

Бабка заковыляла. Я осмотрелась как смогла.

Полулежала на старой железной кровати. Она стояла в коридоре, не в комнате. Дверь в одну из комнат была закрыта. Я тогда подумала – наверное, в эту дверь не раз били ногами. И что вообще я тут делаю?

Перед глазами пошли темные волны, я снова отрубилась.

Пришла в сознание, открыла глаза.

Бабкино лицо было рядом с моим, на расстоянии двух сантиметров. Это рыло лицом можно назвать, лишь будучи закоренелым гуманистом: все в рытвинах и ямах, огромный мясистый нос, мутные глаза со зрачками, пропитанными тьмой. Она улыбалась. И это была гнилая улыбка. Через

нее виднелось дно ада. Вся ее улыбка целиком просто сгнила.

Меня вырвало, бабка захихикала.

Она взяла какую-то тряпку и грубо вытерла мне рот. Все, что попало на одежду, так и осталось сохнуть на ней.

Бабка что-то шептала. Шепот и свист вылетали из ее паршивой улыбки вонючим дыханием. Она стала целовать меня в губы – настойчиво, развязно. Щеки, подбородок, кончик носа – все попадало под ее слюнявую эротику. Я хотела оттолкнуть ее, но не могла. В груди все горело, пылало и в голове.

Она легла на меня сверху, поцелуи становились все настойчивее. Мне казалось, что по губам бабки ползают гусеницы, и сейчас они заполнят мой рот.

Она положила руку мне на промежность. Было ощущение, что она пытается прорвать мне джинсы, чтобы добраться туда, куда ей хотелось.

Меня снова вырубило.

Открыла глаза. Бабка выла где-то внизу, под кроватью. Сколько прошло времени – я не знаю. Но я уже могла двигаться. Привстала и увидела, как она каталась по полу у моих ног. Старуха держалась за голову, платок ее сполз, голова оказалась почти лысой, лишь несколько седых вихров покрывали череп. Она драла себе лицо ногтями, орала, лезла себе под юбку и что-то там нервно ощупывала. Потом стала биться головой об пол. Колотилась и охала, разбрызгивая

кровь по сторонам.

Сначала это были просто вой и плач, но потом я стала разбирать слова:

– Мать, ведь я тебе мать, я тебе мать, мать я тебе, мать, мать, мать…

И тут я снова потеряла сознание.

Когда опять вплыла в реальность, я все так же сидела на кровати. Рядом стоял ящик, на нем бутылка водки и надкусанный персик. Рядом на стуле сидел какой-то мужик с отекшим лицом, в помятой военной форме. Я заметила и бабку – она забилась в угол и там притихла. Лишь редкие всхлипы напоминали о том, что она вообще есть в доме.

Мужик усмехнулся, сказал:

– Проклюнулась? Она вон, – он вяло кивнул на бабку, – орет, что тебе мать. Она всем мать. Нет на белом свете ни одного человека, кому она не мать.

Моя голова была еще в тумане, я не понимала – он так шутил или говорил серьезно.

– Давай вот, выпей, – прохрипел мужик. – Маленько легче станет.

Я выпила, закусила кислым абрикосом. И правда, сразу как-то полегчало.

Мужик свесил голову, обхватил ее руками. Что-то запел, потом сразу сорвался в плач. Но это продлилось недолго. Он налил себе полный стакан, выпил без закуски. Вперился в меня – все смотрел, смотрел.

Потом стал рассказывать, глядя в пол:

– А я ведь под Кандагаром всех пацанов потерял. Ты тогда и не родилась еще. Мы там знаешь как… Ты не знаешь, как… Пока эта предательская рожа Федя Малец дурь с душманами курил, мы там… по горам да по рекам прятались. Выслеживали. Ох, я там! Тебе и не снилось, малая. В этой жаре. В этом дерьме. Они с душманами в сговор вступили. Предательская тварь. Думали, может, какие поблажки будут. Будут, ага. Душманье их первыми и перерезало. Я бы и сам сейчас их всех… Перебил бы. Да только давно уж они у Аллаха. Или у Христа, раз он самый истинный Бог? Мне плевать, если честно. А вот нормальных пацанов, вот их я потерял. И потеря эта невосполнима, – он зарыдал, налил себе и мне. Я начинала пьянеть снова, и то, что одежда в блевотине, мне было уже все равно. Я хотела его слушать, слушать, слушать…

Он вдруг поднял голову. Я никогда не забуду этот взгляд – растерянный, мутный, словно у ребенка, который только что упал с качелей. Мужик бросился на колени, смотрел на меня с мольбой.

Он спросил плаксиво, показав пальцем на бабку, что затихла в углу:

– Слушай, малая, а она мне мать или жена, а? Мать или жена?..

Из меня вырвалось само собой:

– Может… сестра?

Мужик упал на пол, лицом вниз, и зарыдал с такой горечью, с такой тоской, что я бросилась к нему и обняла за плечи. От него сильно воняло потом, но жалость была сильнее.

Он перестал плакать так же резко, как начал, быстро повернулся, стал тянуться ко мне, попытался обнять.

Прошептал заикаясь:

– Поцелуй меня, малая. Поцелуй…

В этот момент входная дверь распахнулась, в дом залетела встревоженная полупьяная Ленка, у которой мы пили водку. Увидев меня, она заорала:

– Нин, ты чего, охерела? Ты куда пропала, мы три часа тебя ищем! Что ты делаешь у этих бомжей, к ним даже менты не заходят…»

Есть в воспоминаниях какая-то светлая грусть. Особенно если давно прошедшие события действительно стоят того. Никто не скажет наверняка, что же важнее: сами события или воспоминания о них? Что реальнее, что ближе? Умный, дай сказать! Я сейчас заору! *Притушись, сигаретка. Не видишь, я общаюсь? Отстань, слышишь? Прости, читатель. Я вот думаю, что у хорошего человека и воспоминания хорошие. Ведь Нина хорошая, правда же? Еще бы! Но время идет, и настала пора нам познакомиться еще с одним прекраснейшим персонажем. Я просто счастлив, что вы впервые узнаете его. Я вам завидую. Приятного, как говорится, знакомства. Услышимся.*

Яркая смерть

Ресторан «Яркий Я» был почти пуст.

Жаль. Алексу хотелось побольше людей. Он желал смотреть им всем прямо в глаза. Каждому. И чтобы они смотрели, но сразу отводили бы взгляды.

Он уставился через окно ресторана на улицу, где выпускали пар сгорбленные прохожие и дымили редкие машины. Он видел свое отражение в стекле. Оно скрывало все то, что печалило его, и подчеркивало все, что радовало.

Алекс не любил смотреть на себя. Но делал это постоянно. Возраст оставлял на лице свои штампы, отметины, печати. И он страдал – сладко, мучительно.

Объяснения этой сладости не было.

Нина как-то сказала ему, глядя передачу о звездах кино: «Посмотри, как классно стареет Джордж Клуни!» И Алекс радовался, ведь Джорджу – 57, а ему всего 42. И он, конечно, тоже будет классно стареть. Никаких сомнений.

Официант в желтом комбинезоне с надписью: «Яркий я? Яркий ты!» подошел и улыбнулся:

– У вас прекрасный вельветовый костюм. Меню?

Алекс продолжал смотреть в окно.

Чуть поодаль, у занесенного снегом тротуара, толстенный ребенок упал в сугроб – Алекс наблюдал за ним сквозь свое темное отражение. Смотрел через тень. Мать поднима-

ла мальчика, но он снова падал.

– Простите, меню? – официант чуть наклонился, подумав, что в первый раз его не расслышали.

Алекс перевел на него задумчивый взгляд – и долго смотрел в смущенные глаза. Официант искренне не понимал, что происходит, веки его чуть подрагивали, губы стали влажными.

Алекс взял со стола салфетку, стал тереть и без того чистые губы.

Спросил с вызовом:

– Слушай, на сколько я выгляжу, а?

Мальчишка растерялся, хмыкнул, нахмурился.

– Да ты не хмурься, ты скажи. Сколько мне лет? Угадай.

– Я думаю, лет сорок девять, – почти шептал официант. – Не… не больше…

Алекс выпятил губы, о чем-то задумался. Принялся медленно водить пальцем по столу.

И снова смотрел в окно, где ни ребенка, ни его матери уже не было – только темное отражение Алекса и красный стоп-сигнал машины вдалеке.

– Привет, приветище, Алекс Владимирыч, дорогой! – огромного роста человек подошел так стремительно, так резко швырнул ключи от машины на стол, так громко закричал, что официант отскочил, врезавшись в стул у соседнего столика.

Алекс не обратил на это никакого внимания. Он спокой-

но смотрел в окно, будто ничего не произошло. Медленно повернулся к гостю, отстраненно изучал его. Пережевывал свой язык, но глотать его, кажется, не собирался.

Гость сменил тон, стал серьезным:

– Правда, Алекс. У меня не так много времени. Давай обсудим текущее, и я поеду дальше. Все остальное – потом, ближе к двадцатому.

Официант ожидал заказа, украдкой поглядывая на важных гостей.

Алекс не скрывая игнорировал собеседника. Он медленно поднялся с кресла, сделал несколько разминочных движений руками, подошел к официанту вплотную, гадко улыбнулся, сказал тихо:

– А знаешь что, яркий мой. Я хочу отдать тебе чаевые сейчас. Еще до заказа. Можно так? А? Можно? – он смотрел официанту в область подбородка. Парень трясся.

Алекс резко повернул голову на гиганта, захохотал:

– О, Андрей Евгеньевич, вот так радость! Здравствуй, здравствуй, дорогой! Послушай, я тут пареньку собирался дать чаевых, да мелочи нет. Есть сорок девять рублей взаймы, а? Дай, пожалуйста. У меня зарплата через неделю, я отдам, клянусь.

Длинный Андрей Евгеньевич нахмурился, посмотрел на обоих исподлобья. Порылся во внутреннем кармане. Ничего не нашел, кроме нескольких банковских карт.

Все трое сконфуженно переглядывались.

Лихо подоспела кудрявая администратор, злобно глянула на официанта, но сразу же заулыбалась:

– Господа, все в порядке? Вы становитесь все ярче в «Ярком Я» или что-то мешает?

Длинный отрезал:

– Все хорошо, дамочка. Дайте нам сделать заказ.

– Поняла, удаляюсь. Яркого вам вечера.

Алекс стремительно пошел за администраторшей, взял ее за локоть, отвел чуть в сторону, зашептал:

– Слушай, найди мне срочно сорок девять рублей, а? Страсть как нужно.

Она захлопала глазами, блестящие губы разомкнулись. Молча закивала головой, быстро ушла, вернулась через пару минут. Протянула Алексу аккуратно сложенную пятидесятирублевую купюру.

– Да в лицо те лужу, окаянная… – выругался.

– Что? – с акцентом на «о» выдохнула администратор.

– Да ничего… все…

Алекс схватил купюру, выбежал на улицу, разменял деньги в супермаркете, вернулся. Официант так и стоял, только голова его склонилась, словно на похоронах близкого родственника. Алекс с силой впихнул ему сорок девять рублей в карман брюк, прошипев в ухо:

– Держи-и-и. По количеству лет-т-т-т.

Официант не уходил – убегал, натыкаясь на столы и других посетителей. Их заметно прибавилось.

Длинный закричал, выставив руку вперед:

– Эй, ты куда это? Я сейчас пожалуюсь администратору! Ты не принял у нас заказ!

Официант прибавил скорость, сбив тележку с подносами, опрокинув бутылку шампанского с чьего-то стола. Он оглядывался и бежал к выходу, по пути стаскивая с себя фирменную одежду ресторана. И плакал. В погоню за ним пустился охранник.

Администратор подбежала к двоим надоевшим гостям. Оба жевали зубочистки, глядя сквозь нее.

– Мы все сейчас уладим, все сделаем. Все будет хорошо. Все сейчас наладится, – лепетала она.

Двое совсем не замечали ее, легко беседуя:

– Слушай, а ничего в этом ресторане зубочистки, да? Я ожидал худшего.

– Вполне, вполне. Единственное, небольшой пересол, как мне кажется. Совсем чуть, но есть.

– Перестань. Ну перестань! Пару месяцев назад я был в одном ресторанчике на окраине Мадрида. Вот там был пересол! Я смог съесть лишь пару штук. А потом всю ночь пил кровь из восхитительно шоколадной шеи одной мулаточки – такова была жажда.

– Ну хорошо, не стану спорить. Пусть это будут самые лучшие зубочистки в мире. И сам Вольфганг Пак не смог бы такие приготовить.

Администратор дышала, словно на уроке йоги.

Алекс приветливо сказал:

– Ну что, дорогуша? Примешь у нас все же заказ или нам написать директору о том, какие замечательные зубочистки в его ресторане?

– Приму, сию же минуту приму! – у нее из рук выпала ручка. Гости не обратили на это внимания. Оба серьезно смотрели в меню, словно собирались редактировать Библию. Читали долго, медленно перелистывая страницы.

Наконец Алекс захлопнул толстую бордовую папку, швырнул ее на стол.

– Мне что-то не нравится, – с показным презрением сказал.

Вынул изо рта зубочистку, похожую на маленькую жвачку, стал ее разглядывать.

– Да, дерьмовенько, – швырнул меню и Андрей Евгеньевич.

– А знаешь что, – сказал Алекс, – принеси-ка нам апельсин. Не чисть его, мы сами. Ступай, моя хорошая. Ступай.

Через минуту огромный апельсин лежал у них на столе.

– Подарок от заведения, – улыбнулась администратор и тут же ушла.

Алекс взял апельсин, задумчиво его разглядывал. Поднял опустевшие глаза на Андрея Евгеньевича, сказал:

– Слушаю тебя. Как дела в нашем королевстве с пустым троном?

Андрей Евгеньевич наклонился ближе к Алексу, громко

прошептав:

– Я сказал этой суке – подпишешь. Все подпишешь. Или подохнешь. Вот так.

Сказанное не произвело на Алекса никакого впечатления. Он медленно поднес апельсин к носу и громко вдохнул, закрыв глаза.

И в голове его поплыло, зазвучало, понеслось…

– Мама, где ты, мама?

Он слышал не слова, лишь отголоски. Ребенок кричал, захлебываясь звуком. Мальчик бежал по темному коридору. Мать убегала от него. Он ее не видел, но знал, что она где-то впереди. То была игра в какие-то плохие, злые прятки. Никто не водил, не считал до десяти. Никто не писал эти правила. Он вынужден был просто бежать за ней.

– Мама!..

Поворот – и снова коридор. Он просто должен был догнать ее, схватить за платье, чтобы никогда больше не отпускать. Не потерять.

Он задыхался. Маленькое сердечко рвалось вперед, будто пуля пыталась выстрелить из груди и попасть обратно в ствол.

Ее нигде не было видно. Он чувствовал: только что она была здесь, он так хорошо знал ее запах. Вот-вот за поворотом он настигнет ее. И увидит родное лицо. Она раскроет объятия – и прижмет, обнимет его.

– Мама. Мамочка…

За поворотом пустота. И запах, лишь ее запах.

Вот коридор закончился. В глаза ударил солнечный свет. Он выбежал на летнюю улицу. Мама стояла там, у клумбы с синими розами. Высокий, словно высохший старик держал ее за плечи. И грубо тряс.

И шипел в лицо:

– Я сказал, подпишешь, сука. Все подпишешь… Или подохнешь.

Она повернулась, увидела его.

– Беги отсюда! Скорее беги! – кричала, рвалась из рук старика.

Но он побежал прямо к ним. Кинулся на старика, словно раненый волчонок. Вцепился обеими руками в его штанину…

– Ясно, все ясно, – сказал Алекс, открыв глаза.

И положил апельсин на краешек стола. Фрукт тут же упал на пол.

Алекс и Андрей Евгеньевич долго смотрели друг на друга.

Андрей Евгеньевич робко спросил:

– Может, поднимешь?

Алекс ухмыльнулся:

– А может, ты?

Алекс поднялся, подошел к окну. Чуть поодаль, на улице, охранник давал подзатыльники сбежавшему официанту. Тот пытался вырваться, но был гораздо слабее. Гнулся в разные стороны, уворачивался от ударов, пытался бежать – все бес-

полезно.

Зазвонил мобильник. Алекс поднес его к уху, минуту слушал кого-то, не отводя мутного взгляда от охранника и официанта. Затем убрал телефон – и так зажмурился, что щеки его пошли морщинами почти до самого подбородка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.